

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ «ФРАНЦ ФОН ЗИКИНГЕН»

ПЕРЕПИСКА МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА С ЛАССАЛЕМ

Предисловие редакции «Литературного Наследства»

Статья Георга Лукача

Переписка Маркса и Энгельса с Лассалем по поводу его трагедии «Франц фон Зикинген» стала известна уже в начале 90-х гг. прошлого века, когда Э. Бернштейн впервые воспользовался оставшимися у Энгельса письмами Лассалья к Марксу и Энгельсу и напечатал в «Neue Zeit» и в изданных им сочинениях Лассалья письмо последнего (от 6 марта 1859 г.) об идее трагического в «Зикингене»¹. Затем письма Лассалья к основоположникам научного социализма были напечатаны Мерингом в четвертом томе «Literarischer Nachlass», переведенном и на русский язык². Но до конца мировой войны письма как Маркса, так и Энгельса оставались неопубликованными и было неизвестно их отрицательное отношение к эстетическим и политическим взглядам Лассалья в трагедии «Зикинген»; об их критике этих установок можно было судить только по цитатам и полемике, содержащимся в письмах Лассалья. И лишь после окончания войны Густаву Майеру удалось найти письма Маркса и Энгельса к Лассалю, хранившиеся в замке потомков графини Гацфельд в Эльзас-Лотарингии. Полностью переписка Маркса и Энгельса с Лассалем была опубликована как III том шеститомного издания литературного наследства Лассалья в 1922 г.³ Отрывки из новонайденной переписки Маркса и Энгельса и оба письма по поводу «Зикингена» были переведены на русский язык и напечатаны в 1922 г. в журнале «Под знаменем марксизма». Таким образом вся переписка по поводу трагедии Лассалья для русского читателя была разбросана и настолько плохо переведена (особенно ранние русские переводы), что в ее тексте местами был совершенно искажен смысл. В настоящей публикации 1) впервые воедино собраны все письма как Лассалья, так и Маркса и Энгельса, имеющие отношение к трагедии, 2) русский перевод в основном сделан заново и отредактирован И. Б. Румером, 3) печатается специальная работа Георга Лукача, посвященная этим материалам.

Собрав всю переписку Маркса и Энгельса с Лассалем вокруг полемики об этой драме, мы имеем возможность оценить ее огромное теоретическое и политическое значение. Эта переписка представляет величайшую важность для решения основных вопросов марксистско-ленинского литературоведения. Ответные письма Маркса и Энгельса являются одним из лучших документов, оставленных нам основоположниками марксизма как наглядный пример сугубо политического, партийного подхода к вопросам литературы и эстетики; они являются одним из лучших образцов конкретного анализа художественного произведения и показывают, как Маркс и Энгельс в своих эстетиче-

¹ Ferd. Lassalle's Reden und Schriften, Neue Gesamtausgabe mit einer biographischen Einleitung. Hrsg. von Ed. Bernstein. Bd. 1—3. Berlin, Vorwärts, 1892—1893 (письмо напечатано в I томе, стр. 32—41).

² Письма Ферд. Лассалья к К. Марксу и Ф. Энгельсу. С примечаниями Ф. Меринга. Изд. 2-е. СПб., «Литерат. Дело», 1907.

³ Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx. Hrsg. von G. Mayer, Stuttgart, 1922. Существует русский перевод первой части этой переписки (до 1859 г. вкл.) в заграничном меньшевистском издании (Ф. Лассаль, Переписка между Лассалем и Марксом. Изд. Г. Майера, перев. с нем. Ф. И. Дана. Берлин, 1923).

ских суждениях, в решении таких вопросов, как творческий метод, взаимоотношение единичного и всеобщего, индивида и класса и т. д., не отрывают этих вопросов от конкретной политической практики класса, от исторического развития классовой борьбы, а наоборот теснейшим образом связывают решение этих вопросов именно с мировоззрением автора (Лассалья) как представителя определенного класса и определенной исторической ситуации. Они убедительнейшим образом показывают, как абстрактно-морализующий, субъективистский метод творчества Лассалья в «Зикингене» неразрывно связан с его идеалистическим, буржуазно-революционным, а не пролетарским мировоззрением, они же показывают, как должен был бы писать, каким творческим методом художественно оформить трагедию революции идеолог пролетарской партии.

Маркс и Энгельс в этих письмах ставят вопрос о политических союзниках руководящей революционной партии, об отношении индивида, «героя», к классу и разоблачают идеалистичность и действительный классовый смысл цезаристской исторической концепции «героя» в «Зикингене», который якобы может распоряжаться общественными классами. Насколько Маркс и Энгельс были правы в своей критике, показывает вся деятельность Лассалья как организатора и руководителя немецкого рабочего движения 60-х гг., его бонапартистские стремления стать «Ришелье пролетариата» (Маркс), его союз с Бисмарком и предательство рабочего класса, как это особенно ясно подтвердилось после опубликования его переписки с Бисмарком¹.

Лассальянство уже в течение долгого времени является знаменем оппортунизма, ревизионизма, ренегатства, всяческих извращений марксизма. Лозунг «назад к Лассалю» выбрасывается, начиная от русских струвистов и кончая современными социал-фашистами, опирающимися в своей «реальной политике», в тактике «меньшего зла» и защиты капиталистического общества на «старую, испытанную» тактику и теорию родоначальника оппортунизма — Лассалья. В области литературы и эстетики, в которой Лассаль всегда оставался до конца идеалистом, оппортунистом и ревизионистом марксизма также опирались, где только могли, на мнения Лассалья. И поэтому-то переписка вокруг «Зикингена» приобретает такое чрезвычайно важное значение для характеристики отношений Маркса и Энгельса к Лассалю. Этим объясняется то обстоятельство, что эта полемика, несмотря на сравнительно позднее издание писем Маркса и Энгельса, уже имеет свою богатую литературу. Нет кажется ни одной биографии или другой работы, о Лассале как марксистских, так и буржуазных авторов, в которой не было бы посвящено ей главы или хотя бы нескольких страниц. Интересен например отзыв известного буржуазного биографа Лассалья Германа Онкена, который писал о ней в 1923 г.: «Так, в трагедии «Зикинген» общественное движение реформации и нашего времени отступает на задний план перед единой, духовно свободной и избавившейся от князей Германней. Такое же точно развитие действия, как у Лассалья, мог бы сочинить и буржуазный демократ, а не ученик Маркса. Эту разницу учитель остро почувствовал»². Особенно много занимался этой полемикой Э. Бернштейн — и притом весьма характерно, что в связи с его политической эволюцией менялась и его оценка «Зикингена». Именно Бернштейн первый опубликовал большое письмо Лассалья от 6 марта 1859 г. об идее трагического. Живя в Лондоне после закрытия заграничного органа германской с.-д. партии «Социал-Демократ», Бернштейн занялся по поручению партийного издательства подготовкой собрания сочинений Лассалья с биографическим очерком его жизни. Бернштейн тогда находился под непосредственным идейным руководством Энгельса и весьма резко относился к Лассалю и лассальянству. Энгельс же и предоставил Бернштейну находящиеся в его распоряжении письма к Карлу Марксу, среди которых находилось и вышеназванное. Бернштейн сразу же напечатал его в «Neue Zeit», но без определенных комментариев³. В своем биографическом очерке он критикует точку зрения Лассалья в «Зикингене» и его эстетические взгляды почти дословно, как в пись-

¹ Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle. Gespräche und Briefe. Berlin, Dietz, 1928; в русском переводе переписка Лассалья с Бисмарком напечатана в «Летописях марксизма» 1928 г., № 6.

² H. Oncken, Lassalle. Eine politische Biographie. 4 Aufl. Stuttgart—Berlin, 1923, S. 153.

³ Ed. Bernstein, Lassalle über die Grundidee seines Franz von Zickingen («Neue Zeit» 1891, Bd. II, S. 588—597).

мах Маркса и Энгельса. Это совпадение объясняется очевидно тем, что Энгельс изложил Бернштейну свою точку зрения на эту драму. Любопытно, что Бернштейн попутно упрекает Лассала в выпячивании тенденции (поверхностной) и в чрезмерном «рефлектировании»; все это доказывает, что эта критика была написана под влиянием Энгельса. Но совершенно иначе Бернштейн оценивает трагедию «Зикинген» и его автора в 1919 г., когда он после войны выпустил новое издание сочинений Лассала. Бернштейн вскоре после смерти Энгельса сделался вождем ревизионизма и — увы — теперь он уже не критиковал, а опирался на Лассала. Ренегат и социал-фашист Бернштейн в 1919 г. в предисловии к первому тому сочинений Лассала пишет о «Зикингене»: «Франц фон Зикинген» разрабатывает исторический конфликт XVI в., который в иной форме вновь оживает в XIX и который XX век пытается разрешить опять-таки иным способом: это — борьба за единство Германии против притязаний различных светских и духовных властителей. Лассаль превозносит Зикингена и его друга и советника Гуттена как героев этой борьбы, окончившейся поражением благодаря тактическим ошибкам (!) Зикингена»¹. Возвращаясь к своей точке зрения в биографическом очерке к изданию 1892—1893 гг., Бернштейн продолжает:

«Лассаль, по мнению процитированной нами во введении биографии, впадает в заблуждение, игнорируя причинную связь между вышеуказанными ошибками Зикингена и тем обстоятельством, что Зикинген и Гуттен являлись представителями обреченного класса и поэтому были вынуждены своего рода необходимостью к такой политике, которая исключала возможность победы. Но если взять драму такой, как она есть, то оказывается, что Лассаль, преподнося своим мечтавшим о единой неделимой Германии современникам картину прежней неудачной борьбы за этот идеал, хотел предостеречь их от политических ошибок, повлекших за собой поражение Зикингена. Сущность этих ошибок он излагает в примечательной статье о трагическом замысле «Франца фон Зикингена», столь заслуживающей особого внимания в наше время, когда самое понятие о вине в политических актах сильно пошатнулось»².

Таким образом драма Лассала теперь должна была служить ширмой для патристических «отечественных» забот социал-предателя Бернштейна.

Немало писал о «Зикингене» и Франц Меринг в своей «Истории германской социал-демократии», биографии Маркса и ряде других своих работ. Но и Меринг, несмотря на то, что он был одним из вождей германской «левой», до конца жизни не освободился от полуменьшевистских взглядов, в частности и по вопросам литературы и искусства. В трактовке взаимоотношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем он всегда оправдывал тактику Лассала в раннем рабочем движении, противопоставляя ее тактике Маркса и Энгельса. И в области эстетики Меринг опирался в гораздо большей степени на идеалиста Лассала, нежели на Маркса и Энгельса. Его защита творческого метода Лассала, переоценка классического литературного наследства (в особенности Шиллера), недооценка пролетарской литературы и ряд неправильных положений в теории искусства, сближающих его в этих вопросах с Каутским, Троцким и другими центристами довоенного II Интернационала, восходят в значительной степени к эстетике Лассала.

Лассальянство, как оно было выработано и оформлено в теории и практике самого Лассала и его наиболее талантливого последователя И. Б. Швейцера, всегда и притом уже очень рано получало самый резкий отпор со стороны В. И. Ленина; в ряде статей он вскрывает оппортунизм этого течения в рабочем движении и разоблачает тех идеологов II Интернационала, которые или открыто проповедывали возврат к Лассалу, или покровительствовали лассальянству, вычеркивая например резкие отзывы Маркса и Энгельса о Лассале при издании их литературного наследства, и т. п. Помимо Бернштейна по этому вопросу в работах Ленина особенно резко критикуется и Меринг. Poleмику Маркса и Энгельса с Лассалем о «Зикингене» Ленин использовал в 1911 г. в вопросе о «левобоклизме». В статье «Принципиальные вопросы избирательной кампании»³, выступая против меньшевиков Ю. Чацкого, Л. Мартова и Ф. Дана, он пишет:

¹ Ferd. Lassalle, Gesammelte Reden u. Schriften. Hrsg. u. eingeleitet von Ed. Bernstein. Bd. I—XII, Berlin, Cassirer, 1919.

² Там же, т. I, стр. 9—10.

³ Ленин, Сочинения, 2-е изд., т. XV, стр. 347.

«Именно «левобюрократская тактика», именно союз городского «плебса» (современного пролетариата) с демократическим крестьянством придавал размах и силу английской революции XVII, французской XVIII века. Об этом Маркс и Энгельс говорили много раз не только в 1848 году, но и гораздо позже. Чтобы не приводить много раз уже приводившихся цитат, напомним переписку Маркса и Лассалья в 1859 году. По поводу трагедии Лассалья «Зикинген» Маркс писал, что коллизия, проведенная в драме, «не только трагична, но она есть именно та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848 и 1849 годов». И Маркс, уже намечая в общих чертах всю линию будущих разногласий лассальянцев и эйзенхауцев, упрекал Лассалья, что он впадает в ошибку «тем, что ставит лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской». Нас не касается здесь вопрос о том, правилен или не правилен упрек Маркса: мы думаем, что правилен, хотя Лассаль энергично защищался от этого упрека. Важно то, что ставить «лютеровско-рыцарскую» (либерально-помещичью в переводе на русский язык начала XX века) оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской» (пролетарско-крестьянской, в таком же переводе) и Маркс, и Лассаль считали явной ошибкой, считали абсолютно недопустимым для социал-демократа!»

В. И. Ленин тогда не знал полной переписки между Марксом, Энгельсом и Лассалем по поводу «Зикингена» и был знаком с точкой зрения Маркса лишь по цитатам в письме Лассалья; В. И. Ленин не знал также всех подробностей отношений Лассалья к Бисмарку, но он и по имеющимся тогда данным сделал все выводы и гениальным образом применил анализ, данный Марксом и Энгельсом в 1848, 1849 и 1859 гг. для революционной ситуации и соотношения классовых сил прежних революций, углубив его в применении к обстановке 1905 и 1917 гг., т. е. уже к эпохе империализма и пролетарской революции.

Полемика Маркса и Энгельса с Лассалем и применение ее В. И. Лениным — блестящая страница из истории борьбы воинствующего марксизма-ленинизма с оппортунизмом и идеализмом в рядах рабочего движения. Марксистско-ленинское литературоведение на этом примере конкретной критики и сугубо партийного подхода основоположников научного социализма должно учиться непримиримой борьбе с противниками пролетарского литературного движения.

Р с д.

I. ЛАССАЛЬ — МАРКСУ

[Берлин, 6 марта 1859 г.]

Дорогой Маркс!

В тот самый день, когда я получил твое письмо относительно Энгельса, я тотчас ответил тебе, уведомляя тебя, что дело мной улажено, и сообщая адрес, по которому ты или он должны послать рукопись. Ничего нового я по этому поводу пока не слышал. Надеюсь, что рукопись придет на этих днях, потому что в таких делах время не терпит.

Прилагаю при сем три экземпляра моего последнего произведения — для тебя, Фрейлиграта и Энгельса. Двум последним будь так добр доставить их экземпляры как можно скорее.

Какое изумление изобразится на твоем лице, когда ты увидишь драму, сочиненную мною! Почти такое же, какое испытал я сам, когда напал на мысль написать ее, или вернее, когда эта мысль напала на меня! Ибо все это возникло у меня не как продукт свободного творчества, которым решаешь заняться, но как некое принуждение, которое нашло на меня и от которого я никак не мог отделаться. Я, который даже в юные годы не написал ни одного лирического стихотворения, я — поэт! Как безумно я смеялся над самим собой, когда мной впервые овладела эта мысль! Но кто может идти против своей судьбы! — Постараюсь же объяснить тебе, как эта судьба меня постигла.

Это было в то время, когда я с напряжением всех сил заканчивал своего Гераклита. Ты вероятно увидел из него, что у меня есть некоторая способность, а следовательно и склонность к умозрительному мышлению. И тем не менее я бесконечно страдал, работая над этим сочинением. Пропасть, отделяющая эти научные, бесцветно-теоретические интересы от всего, что сегодня практически волнует нашу кровь, или, правильнее выражаясь, та лишь косвенная и отдаленная связь, которая все же имеется в последнем счете между обеими этими областями, вот что было причиной моего страдания, и могу тебя уверить, что оно было огромно. О, как часто, когда какая-нибудь ассоциация идей уносила меня из того мира мыслей, в который я должен был насильственно втиснуть себя, к нашим жгучим современным интересам, к великим вопросам дня, которые хоть и казались внешне тихими, но в моей груди продолжали кипеть с прежним жаром, — как часто вскакивал я тогда из-за письменного стола и бросал прочь перо! Точно вся кровь застывала в моих жилах, и лишь после получасовой или еще более длительной борьбы с самим собой ко мне возвращалось самообладание, я мог заставить себя вновь сесть в кресло и вновь отдаться во власть железной концентрации мыслей, которой требовал мой труд. Очень тяжело после 48 и 49 гг., после того как уже пролито столько крови и столько дел вопиет о мести, все еще быть вынужденным заниматься теорией (я исключаю только политико-экономические сочинения, потому что они являются вместе с тем и практическими действиями), — особенно когда видишь, как никакое теоретизирование не приносит непосредственной пользы, как люди продолжают себе спокойно жить, словно лучшие и величайшие творения и мысли никогда не были написаны и высказаны! И в такое-то время заниматься умозрительными рассуждениями о греческой древности — я при всем желании не мог бы тебе описать, каких усилий мне это стоило. Но я всегда буду расценивать это как одно из наилучших свидетельств железной силы воли, выданных мною самому себе. Прости, дорогой друг, это лирическое излияние. Ты знаешь, что я в общем не лирик и привык как раз сильнейшие чувства таить в себе. Но иногда бывает необходимо излиться перед другом. А ты в сущности последний друг, оставшийся у меня среди мужчин. Мендельсон умер, графиня же, как ни превосходна эта женщина и как ни дорожу я ее дружбой, все-таки женщина и не в состоянии проникнуть с вполне исчерпывающим пониманием во все тайники мужского мышления. С тобой я в сущности мало жил. Тем не менее мне всегда казалось, что в тебе я имею истинного и настоящего друга. Да ты ведь и сам знаешь, что я всегда так смотрел на тебя. У меня есть, в особенности теперь, много так называемых добрых друзей. Но для дружбы, о которой я говорю сейчас, этим другим недостает хотя бы уж необходимого умственного развития и одинаковости духовных интересов.

Но довольно, вернусь к моему рассказу. Итак, я довел Гераклита до конца, но я пожалуй не сумел бы этого сделать, если бы не нашел спасительного средства в том, что занимался одновременно по ночам, как бы для успокоения, специальным изучением одного предмета, находившегося в тесном родстве с нашими актуально-политическими интересами и т. д., но вместе с тем не настолько непосредственно актуального, чтобы поглотить меня целиком. Привыкнув с ранних лет заниматься попеременно четырьмя-пятью науками, я изучал по ночам средние века, эпоху реформации, над которой я уже прежде много работал, в особенности произведения Гуттена и т. д. Сочинения и жизнь этого удивительного человека ознакомили меня. Однажды я, потрясенный до глубины души некоторыми его вещами, ходил взад и вперед по своей комнате. Несколько дней до того мне пришлось перелистать одну ничтожную современную драму. Так возникла во мне ассоциация идей

Я сказал себе — ибо я никогда не подумал бы при этом в первый же момент о себе самом — боже, если бы хоть кто-нибудь из этих людей, тратящих попусту свой маленький талант на такие вещи, посоветовался бы со мной относительно темы. И я подумал, как я рекомендовал бы им Гуттена, и стал далее думать о том, как бы они составили план подобной драмы, затем от Гуттена — с которым дело опять застряло бы в чистой теории — я перешел к Зикингену как к главному герою. И едва мелькнула у меня эта мысль, как тотчас же, словно по какой-то интуиции, весь план возник передо мной в готовом виде, и в то же мгновение мною овладело повелительное чувство, от которого я уже не мог отделаться: «ты это должен и выполнить». И как я ни робел перед этой задачей, она все же захватила меня. Теперь я мог упиваться чувствами возмущения и ненависти, мог дать волю их набегающим волнам, мог наконец излить свое сердце! Так я нашел способ освободиться от тех удушливых притоков крови к сердцу, которые без этого пожалуй не дали бы мне довести до конца Гераклита.

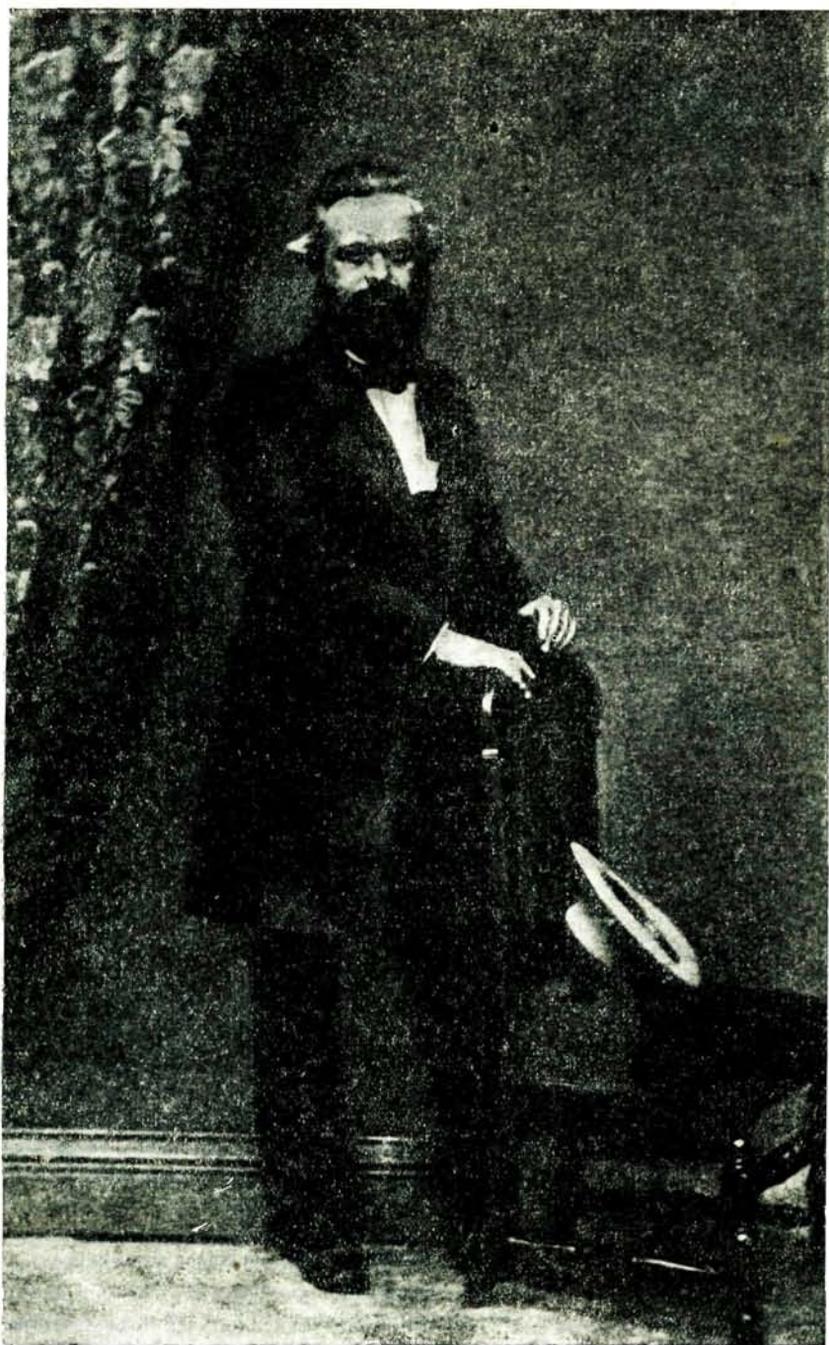
Вот как возникла эта вещь. И я должен сказать, что я считаю ее в сущности прекрасной — не знаю, ослепляет ли меня субъективное чувство, но во всяком случае ты не сочтешь это откровенное заявление за тщеславие, которому оно скорее диаметрально противоположно. Но пусть бы это даже была прекраснейшая вещь в мире, — больше я не напишу ни одной драмы. Эта одна была на меня возложена как бы роковым велением свыше, и больше это не повторится!

О формальной основной идее моей трагедии я написал для некоторых знакомых, менее тебя привыкших к спекулятивному мышлению, небольшую статью, предназначенную разумеется только для частного пользования, но никак не для печати. Чтобы ты не счел меня слишком педантичным и настолько глупым, что я сам выдаю своей трагедии свидетельство о бедности, точно она нуждается в особой *fabula docet* (морали), я замечу, что поводом к этому комментарию было возражение, сделанное мне одним хорошим знакомым, и к тому же еще в якобы гегелевском духе; этим объясняется и форма статьи. Кроме того я воспользовался ею, как ты без труда увидишь из самого текста, чтобы заодно осветить в общих чертах мой спор с моими здешними знакомыми о политическом положении и нашем отношении к нему. Раз статья уже написана, я счел уместным прислать и тебе один экземпляр. Тебе она конечно не нужна, чтобы понять спекулятивную идею драмы. Но все же она представит для тебя тот интерес, что даст тебе возможность судить с полной уверенностью о том, что я сам хотел сказать своей драмой, в отличие от того, что в нее можно вложить со стороны, а также о том, насколько замысел и выполнение покрывают друг друга. Итак, прочти пожалуйста эту статью до или после прочтения драмы и будь так добр, передай ее потом Фрейлиграту, для которого, при его меньшей привычке к спекулятивному мышлению, она и вообще может оказаться не совсем лишней интереса.

Наконец сама собой подразумевающаяся просьба — написать мне обстоятельное и вполне откровенное мнение о том, как ты находишь мою вещь. (Из предисловия ты увидишь, что она в такой форме не предназначена для постановки на сцене. Для сцены я обработал ее отдельно в очень сокращенном виде. Впрочем надежда на постановку при нынешних политических условиях равна разумеется нулю.) Итак, жду правдивого отзыва между прочим и о том, считаешь ли ты, что она будет полезной в ожидаемом мною смысле.

Жму сердечно руку, искренний привет твоей жене, Фрейлиграту и Энгельсу.

Твой Ф. Лассаль.



КАРЛ МАРКС

С фотографии (конца 50-х гг.), хранившейся в Музее Маркса и Энгельса

[РУКОПИСЬ О ТРАГИЧЕСКОЙ ИДЕЕ, ПРИЛОЖЕННАЯ ЛАССА-ЛЕМ К ПИСЬМУ ОТ 6 МАРТА 1859 г.]

Относительно формальной трагической идеи, положенной мною в основу предлагаемой драмы и ее катастрофы, — о глубоком диалектическом противоречии, присущем природе всякого действия, в особенности революционного, — я конечно не высказался в имеющем общий характер предисловии, а в самой трагедии наметил ее отчетливее лишь в пятом акте.

Вечная сила всех господствующих классов, защищающих существующий порядок, заключается в безошибочной, проработанной сознательности, с какой они представляют себе свой классовый интерес именно как уже господствующий, проработанный.

Вечная слабость всякой правомерной революционной идеи, пытающейся осуществиться практически, заключается в недостатке сознательности со стороны членов преданных ей классов; принцип которых еще не осуществлен, а также в связанной с этим неорганизованности имеющих в ее распоряжении средств. Всегда повторяющееся при этом диалектическое противоречие состоит вкратце в следующем. Сила революции заключается в ее воодушевлении, в этом непосредственном доверии идеи к своей собственной мощи и бесконечности. Но воодушевление — как непосредственная уверенность во всемогуществе идеи — есть прежде всего абстрактное невнимание к конечным средствам действительного осуществления и к трудностям реальных осложнений. Воодушевление должно поэтому вязаться в реальные осложнения, перейти к действию с помощью конечных средств, чтобы достигнуть своих целей в конечной действительности. Иначе в своих мечтаниях о том, чего оно желает (о цели), оно упустит из виду реальную сторону осуществления.

При таких обстоятельствах следует повидимому признать торжество высшего реалистического благоразумия революционных вождей, когда они считаются с данными конечными средствами, скрывают от других (и тем самым даже от самих себя) подлинные и последние цели движения и посредством этого умышленного обмана господствующих классов, более того — посредством их использования, приобретают возможность организовать новые силы, чтобы затем с помощью этой умно завоеванной части действительности победить самое действительное.

Такое бесконечное реалистическое превосходство над Гуттенем проявляет Зикинген в третьем акте, как он и вообще постоянно сохраняет над ним, этим лишь духовным революционером, превосходство реалистического взгляда на вещи и практически-политического, государственного гения. Но в этом вязывании воодушевления в конечное, в этом его подчинении последнему оно отнюдь не осуществляет себя, а наоборот, отказывается от своего формального принципа — бесконечности идеи, — отдает себя во власть своей противоположности, конечности, как таковой, в упразднении которой и состоит ее значение, и поэтому здесь оно должно потерпеть крах.

Действительно, хотя рассудку и трудно это признать, почти кажется, будто есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным рассудком с его расчетливостью. Большинство революций, потерпевших крушение, разбились — всякий истинный знаток истории должен с этим согласиться — об эту расчетливость, или по крайней мере крушение потерпели все революции, пытавшиеся опереться на эту расчетливость. Великая французская революция 1792 г., победившая при самых трудных обстоятельствах, победила только потому, что сумела отбросить в сторону рассудок.

В этом разгадка силы крайних партий во время революций и в этом же разгадка того, почему инстинкт масс во время революций в общем гораздо

правильней, чем сознание интеллигентов. «И чего не видит разум умников, то осуществляет на деле, и т. д.». Именно недостаток образования, свойственный массам, предохраняет их от подводных камней расчетливого образа действий.

Впрочем в сказанном уже заключается действительное разрешение и внутренняя необходимость упомянутого диалектического противоречия между бесконечной целью идеи и конечным благоразумием компромисса.

Ибо 1) как уже было отмечено, интерес господствующих классов именно потому, что их принцип господствует и поэтому является вполне проработанным, сознательным, не может быть обманут. Отдельные личности могут быть обмануты, но классы — никогда!

2) В особенности же компромисс как уступка существующему неизбежно должен — и притом, как уже было упомянуто, столько же в формальном отношении, сколько именно поэтому и в отношении содержания — в большей или меньшей степени порвать со своим принципом, т. е. с тем, что составляет силу и оправдание революций, должен встать на почву принципа противника и тем самым уже теоретически признать себя побежденным, и тогда остается только привести в исполнение этот его приговор над самим собой. — Цель только тогда может быть достигнута каким-нибудь средством, — как это с мастерским глубокомыслием показал старик Гегель и отчасти внал уже до него Аристотель, — когда уже заранее само средство насквозь проникнуто собственной природой цели. Цель должна быть выполнена и осуществлена уже в самом средстве, и последнее должно быть запечатлено ее природой, чтобы она могла быть достигнута с помощью этого средства (поэтому в гегелевской логике цель достигается не через средство, а обнаруживается в самом средстве как уже выполненная). Таким образом всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно революции и иные цели не могут быть достигнуты дипломатическими средствами.

Или 3) говоря более реально, революции можно в конце концов делать только с помощью масс и их страстного самопожертвования. Но массы именно вследствие их так называемой «грубости», вследствие того, что они лишены образования, совсем не понимают компромиссов, они интересуются — ибо всякий неразвитой ум признает только крайности, знает лишь да и нет и никакой середины между ними — только крайним, цельным, непосредственным. Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (Revolutionsrechner) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устраняют позади себя своих единомышленников. Таким образом мнимый разум оказывается на деле высшим неразумием.

Впрочем вполне естественно, что чем больше отдельные личности обладают весом и значением в действительном мире, зоркостью взгляда, благоразумием и образованием, тем легче они впадают в ошибку этой роковой, мнящей себя реалистической рассудочности. Этим объясняется то, что например во время французской революции (и во время английской было нечто аналогичное) абстрактные идеалисты, якобинцы, угадывали возможное и реально осуществимое в тот момент лучше, чем кичившиеся своим образованием, реалистическим взглядом на вещи и государственным умом жирондисты, которые и получили поэтому от народа — ненавидящего это государственное благоразумие — странное ругательное прозвище «государственных людей».

Это «лукавство» Зикингена там, где дело идет об идее, Впрочем не наносящее ущерба его революционному величию и радикальной решимости и не превращающее его в примиренца, ибо он не изменяет ни на йоту революционным целям, по отношению к которым он идет дальше всех, и лукавит:

только в смысле способа их осуществления, — это лукавство и есть таким образом вина Зикингена, и конечно это — «великая ошибка», как того требует Аристотель.

Но, мог бы кто-нибудь возразить, эта «великая ошибка», как бы велика она ни была, есть все-таки лишь интеллектуальная ошибка, а не нравственная вина, и следовательно она не трагична.

На это я должен ответить трояко. Прежде всего я ни в каком случае не согласился бы с тем, что диалектика глубочайшего интеллектуального, внутренне неизбежного и поэтому вечного идейного конфликта не является сама по себе глубоко трагическим мотивом, как это доказывает античная трагедия, почему Аристотель вероятно и ограничился требованием «великой ошибки». Во-вторых, эта интеллектуальная вина есть уже на том основании моральная вина, что к тому, кто ставит себя настолько выше существующего порядка, кто хочет его ниспровергнуть и заменить его принципом своим собственным, должно быть предъявлено требование, чтобы он и действительно был духовно настолько выше, иначе придется сказать, что он «зазнался» (в античном смысле слова).

Наконец, в-третьих, несомненно, что эта интеллектуальная вина носит по преимуществу и нравственный характер, ибо она проистекает как раз из недостатка доверия к нравственной идее и к ее самой в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам. В ней заключается таким образом недостаток непосредственной уверенности и убежденности в идеальном, далее недостаток безграничной полной откровенности, а следовательно, так как и то и другое необходимо для революционной точки зрения, и уклонение от своего принципа, частичная надломленность.

В религиозных войнах это явление большей частью не наблюдается, непосредственная мечтательная убежденность во всемогуществе божественного исключает здесь его возможность.

(В том и состоит историческое величие и решающая сила Лютера, что в тех пунктах, которых он действительно хотел достигнуть во что бы то ни стало, он не знал этого благоразумия, не делал никаких уступок, не входил в компромиссы с господствующими силами и не считался с «возможным», но — я говорю об его первом периоде — обращался непосредственно к простому человеку.) Отсюда та нередко чудесная победительная сила, с какой эти фанатики так часто осуществляют невозможное, почти неопостижимое. Отсюда также драматически захватывающая сила этих вдохновенных фанатиков. В их односторонности заключается сила их действия, потому что всякое деяние односторонне.

Таким образом названная вина Зикингена является именно нравственной виной по преимуществу, но виной, которая, если можно так выразиться, смягчена тем, что она интеллектуальна, и именно потому, что она интеллектуальна, что она основывается на идейном конфликте, постоянно повторяющемся во все переломные эпохи, она перестает быть виной частного случайного лица и в свою очередь становится необходимой вечной точкой зрения, неоспоримая относительная правота которой и глубочайшая внутренняя неправда влекут за собой ее трагическую судьбу, ее диалектическую гибель. *Mutato nomine de nobis fabula narratur* (под другими именами речь идет о нас самих), и так это будет вечно. Именно такого рода виновность, в одно и то же время нравственная и интеллектуальная и как раз поэтому-то основанная на вечном и необходимом объективном идейном конфликте, и составляет, как мне кажется, глубочайший трагический конфликт.

Или, чтобы выразить теперь мой взгляд со всей определенностью и четкостью, всякая действительно нравственная вина только интеллекту-

альна, и лишь та вина является нравственной, которая интеллектуальна. Ибо нравственная вина в отличие от моральной, которая связана исключительно с отдельным субъектом и его внутренним миром, заключается не в чем ином, как именно в практике и реализации объективной и относительно правомерной мысли и мысленной позиции, которая однако не умеет справиться со своей диалектической противоположностью, вследствие этого нарушает созвучие как в мире идей, так и в реальном мире и поэтому в теории является односторонней, а на практике — виновной.

Впрочем Зикинген снимает с себя в пятом акте как интеллектуальную, так и нравственную вину тем, что осознал ее и переходит к исполняющему действию. Отбросив в сторону свои дипломатические сомнения и лукавства, он ставит на острие меча свою судьбу и судьбу страны. — Но теперь уже поздно, и так оно должно быть согласно трагической идее. Оскорбленные боги мстят за себя, и, к несчастью, диалектика оскорбленных идей разума мстит за себя еще более жестоко и неумолимо, чем любой из греческих богов. Жизнь и история — жестокая практика логики, и какая жестокая!

В том, что Зикинген вынужден теперь силой обстоятельств сделать неправильный шаг: подвергнуть себя и заодно страну (как уже при осаде его замка, так и при вылазке) чистой случайности, в которой страна и его принципиальные приверженцы в ней вовсе не стоят за ним, так что подлинная сила обеих сторон здесь вовсе не обнаруживается и не является решающим моментом; в том, что этот великий дипломат и реалист, желающий тщательно вычислить все заранее и совершенно исключить всякую случайность, как раз поэтому-то и вынужден в конце концов предоставить все чистой случайности, — в этом заключается настоящая и самая жестокая диалектическая кара, выпавшая на его долю. Вместо того чтобы открыто апеллировать к принципам и развязать их революционную силу, он в трирском походе поставил историческую идею и национальное дело на почву предприятия, у которого старательно отнял его общее значение и которое облек в видимость случайности. И поэтому, как он ни хотел предусмотрительнейшим образом исключить всякую случайность, он сам призвал на помощь случай, и так как его расчет на обман с помощью видимости случайного и несущественного должен разбиться о сознательный характер существующего порядка, то он вынужден принять решение своей судьбы не из рук подготовленной случайности, как ему того хотелось, а скорей из рук подлинного, неподготовленного случая. Поэтому он и гибнет не вследствие превосходства старого — что не было бы действительно трагической гибелью, ибо неизбежное падение старого, впрочем далеко еще не равносильное достижению великих целей Зикингена, достаточно ясно чувствуется в пятом акте, — но он гибнет вследствие собственной ошибки.

Необходимым представляется мне и то, что Валтасар только в пятом акте получает возможность раскрыть Зикингену истинную сущность дела, в третьем же акте не успевает этого сделать. Было бы ущербом либо для формального величия духа Зикингена, либо для его нравственного воодушевления, — что я еще менее мог допустить, — если бы Валтасар уже раньше раскрыл ему эту истинную сущность, а Зикинген все-таки продолжал бы держаться своей точки зрения. Он тогда непременно сделался бы менее значительным умственно или нравственно, чем он должен быть. Теперь же его интеллектуальная вина отнюдь не роняет его, потому что она опирается на нечто тоже существенное и правомерное, и она особенно смягчается тем обстоятельством, что и зритель или читатель до пятого акта наверно будет на его стороне. Точно так же и его нравственная вина, до его беседы с Валтасаром, является чисто бессознательной, но именно поэтому

в данном случае вдвойне трагичной и подходящей к его чистому характеру, между тем как после этой беседы она стала бы сознательной и следовательно уменьшающей его умственно или нравственно.

Только в тот момент, когда уже слишком поздно, допустима речь об ошибке, в которую впал Зикинген на победоносной высоте своего благоразумия, и тут Валтасар должен быть настолько же выше Зикингена, насколько последний выше Гуттена в третьем акте. Примыкающая непосредственно к этому диалогу крестьянская сцена являет как бы хор и ту среду, которая действительно откликается на ряд идей, высказанных Валтасаром.

Впрочем Зикинген в следующей же сцене возвращает себе свое яркое героическое превосходство над теоретическим превосходством Валтасара: между тем как последний совершенно подавлен и удручен, и кажется, что все должно погибнуть, Зикинген мгновенно выпрямляется и, став на точку зрения Валтасара, задумывает и выполняет план спасения.

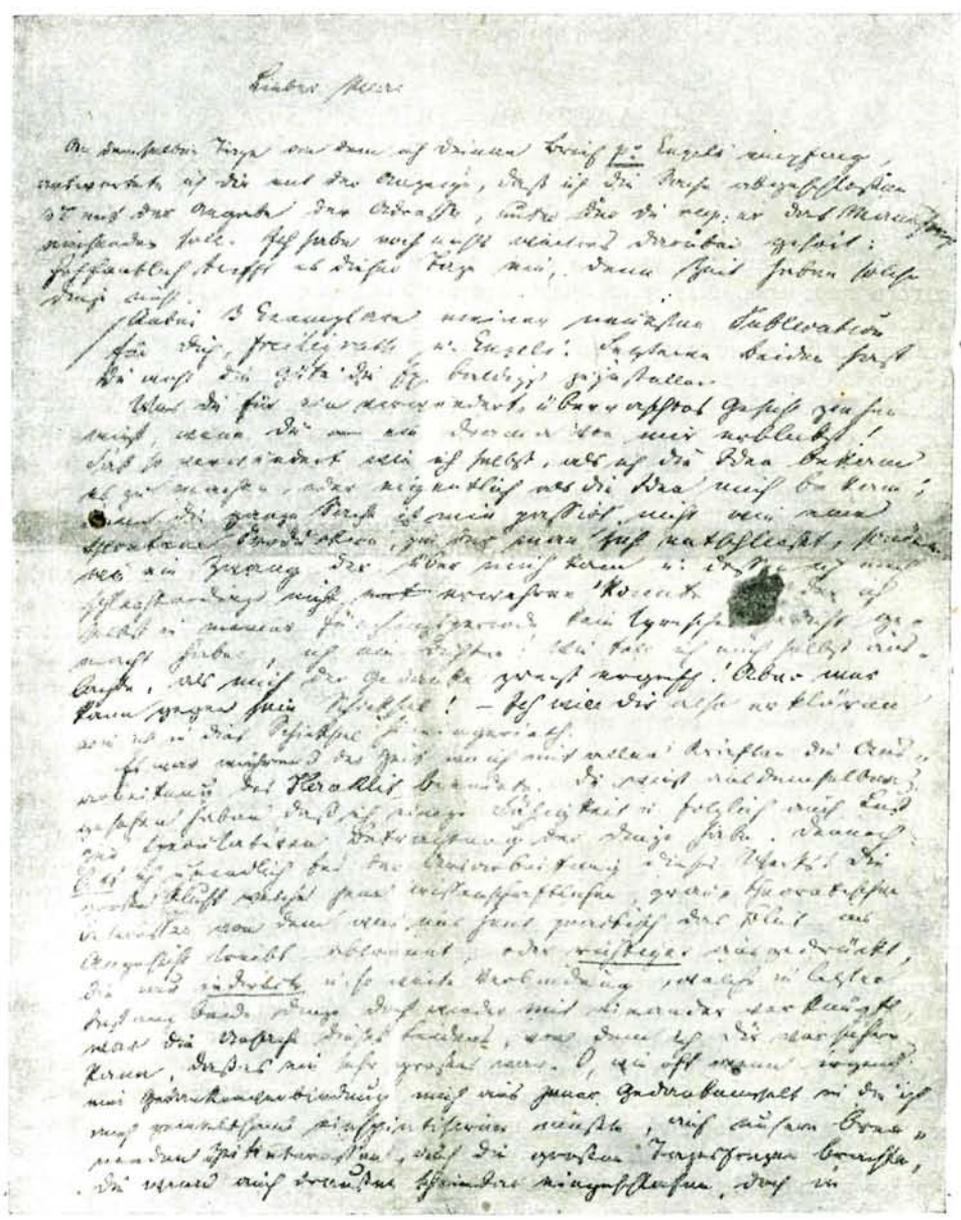
То, что названным превосходством я вообще наделил Валтасара, а не Гуттена, мне тоже представляется необходимым.

Во-первых, в характере Гуттена, как я его обрисовал, преобладает лирический тон, и ему таким образом эта роль не подходит. Напротив, Зикинген есть и остается по отношению к нему, этому, как уже было замечено, лишь духовному революционеру, с начала до конца более сильным, политически дальновзорким реалистическим героем. Он предвидит развитие событий, как оно сложилось и должно было сложиться в результате одного только завоевания религиозной свободы, которую Гуттен считал нужным спасти прежде всего.

Во-вторых, у Гуттена не было бы, если бы он должен был руководить здесь Зикингеном, никакого другого средства кроме воодушевления. Но в этом отношении Зикинген ни на йоту не должен уступать ему, как он и действительно в своем сосредоточенном, непосредственно практическом пафосе в третьем акте давно уже решился действовать и выработал соответствующий план, между тем как Гуттен, которого он настолько превосходит, думает, что его еще надо побуждать к действию.

В-третьих, наконец, одно только воодушевление — и это возвращает нас к сказанному вначале — никогда не могло бы быть более сильным и верным средством, чем реалистическая проницательность Зикингена. Со своим игнорированием конечных средств оно ведь так же абстрактно-односторонне, как и сама эта точка зрения конечных средств, и если оно внутренне и попадает в цель более метко, то оно все-таки не может достаточно сильно проявить свое действительное внутреннее право и таким образом привлечь к себе противоположную точку зрения. Обе являются стало быть лишь относительно правомерными и абстрактными противоположностями. И Зикинген является тут пожалуй даже более высокой и сильной стороной. Действительно возвысить реалистическую точку зрения Зикингена над нею самой способна только еще более реалистичная натура Валтасара, который из своего многолетнего опыта почерпнул свой зрелый взгляд на вещи и законченное познание законов истории и движения народов. Только реалистическая мудрость может преодолеть реалистическое благоразумие и поднять его над ним самим. Однако примирение заключается отчасти в том, что, поскольку дело идет о религиозных целях Зикингена, их позднейшее торжество является фактом и, как уже было замечено, достаточно ясно просвечивает в пятом акте; отчасти же и в особенности в том, что, поскольку дело идет о его более далеких и более важных политико-национальных целях, именно наше время снова начало борьбу за них в аналогичной, хотя еще более широкой форме и упорно выполняет этот суровый труд, страдая и борясь, — как бы в осуществление пророческого намека в заключительных словах Гуттена. И я

считаю немаловажным преимуществом для культурно-исторической трагедии — именно такой, как моя, цели и идейная борьба которой так близко соприкасаются с современностью, что это становится возможным, — если сознание современного зрителя, и не просто лишь как общечеловеческое



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛАССАЛИ К МАРКСУ ОТ 6 МАРТА 1859 г. (ПРИ ПОСЫЛКЕ ТРАГЕДИИ)

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

сознание вообще, но именно вследствие пронизывающего его содержания, снова становится как бы хором, к которому непосредственно обращается трагическое действие и страдание героев. Сознание современного мира вносит, с одной стороны, примирение в трагедию, так

как в нынешнем возобновлении борьбы и заключается высший триумф героя и его целей, а с другой стороны — это сознание черпает для себя в гажелых борениях современности утешение и веру из трагедии, поскольку в этом возобновлении борьбы через три столетия и в доказанной тем самым вечности этих целей заключается наивысшее доказательство их победоносной необходимости.

II. ЛАССАЛЬ — ЭНГЕЛЬСУ

Берлин, 21 марта [18]59 г.

Дорогой Энгельс!

Я был от души рад увидеть снова несколько строк от вас после такого долгого перерыва. Кажется, будто все хорошее опять начинает налаживаться.

Ваши небольшие поручения я исполню, и я уже сообщил, что нужно Дункеру. С содержанием брошюры я жажду ознакомиться. Труд Маркса тоже скоро выйдет в свет; не знаю, почему дело так медленно подвигается вперед; объясняют это черепашным шагом корректур, которые приходится сперва посылать в Лондон. Мне тем более хочется прочесть его, что вот уже несколько лет я ношу в голове одно экономическое произведение и теперь собираюсь разрешиться им. Но я этого не сделаю, если Маркс, как я почти уверен, перехватил у меня самое важное из того, что я хочу сказать. С тем большим нетерпением жду я появления его книги. Но если даже дело обстоит так, как я предполагаю, это тоже не беда. Если то, что надо сказать, уже сказано другим, я готов молчать. И я не знаю никого, кроме Маркса, кому бы я так охотно позволил устранить меня.

То, что он не прислал вам Гераклита, не хорошо с его стороны, так как сам он уже прочел его, а при ваших занятиях сравнительной филологией этот труд во всяком случае мог бы представить для вас кое-какой интерес. Если бы я только знал об этих ваших занятиях, то с большим удовольствием послал бы вам тогда отдельный экземпляр, но сейчас в моем распоряжении нет уже ни одного. — Вы значит прочли объявление о моем Зиккингене? Еще 10 дней назад я послал Марксу три экземпляра для него, для вас и для Фрейлипрата вместе с длинным, очень длинным сопроводительным письмом. Но послал через книгопродавца, и кто знает, когда посылка дойдет! По крайней мере Маркс пишет мне в письме, которое я получил сегодня, что он еще ничего не получил.

Но я должен со смехом протестовать против выражения в вашем письме, как бы доброжелательно оно ни было, что я «также бросился в эту специальность (драму)». Сохрани меня боже от такого дела! До, во время и после сочинения этой драмы во мне было одинаково живо твердое убеждение, что я никогда больше не напишу ни одной драмы, как раньше у меня никогда не было желания писать их. Я не хотел бы этого, даже если бы мог; и не мог бы, даже если бы захотел. Эту одну драму я мог и должен был написать. Это мне было суждено. *C'était écrit là-haut!* (Это было предначертано свыше.) Об этом я подробно говорю в моем длинном письме к Марксу. Но вы и без того это поймете, когда прочтете драму. Надеюсь, что вы это сделаете, как только получите ее.

Но — несмотря на то, что к моему изумлению моя пьеса встретила необычайно сочувственный отклик, — больше я не напишу ни одной.

Отныне я остаюсь при своей политико-экономической и историко-филологической специальности — я имею в виду историю в смысле социально-культурного развития, если только, на что впрочем весьма хотелось бы на-

деяться, не начнется наконец практическое движение и не приостановит на время всякую большую теоретическую деятельность.

Как охотно я оставил бы ненаписанным все, что я знаю, если бы зато удалось сделать кое-что из того, что мы (вся партия) можем.

С приветом и рукопожатием

Ваш Ф. Лассаль.

С 28 марта мой адрес: улица Bellevue, 13.

III. МАРКС — ЛАССАЛЮ

Лондон, 19 апреля [18]59 г.

Дорогой Лассаль!

Я не известил тебя особо о получении 14 ф. 10 ш. потому, что они были посланы заказным письмом. Но я написал бы тебе раньше, если бы не нагрянул один проклятый «кузен из Голландии» и не завладел бы излишками моего рабочего времени самым жестоким образом.

Теперь его нет, и я опять могу вздохнуть.

Фридлиндер писал мне. Условия не так выгодны, как те, о которых я сообщил тебе сначала, но все-таки «распектабельны». Когда будут улажены еще некоторые второстепенные пункты, — а это произойдет, я думаю, в течение этой недели, — я напишу тебе.

Здесь, в Англии, классовая борьба разворачивается превосходно. К сожалению в настоящий момент не существует больше ни одного чартистского органа, так что я около двух лет назад должен был прекратить свое сотрудничество в этом движении.

Перехожу теперь к «Францу фон Зикингену». Во-первых, я должен похвалить композицию и действие, а это больше, чем можно сказать о любой современной немецкой драме. Во-вторых, помимо всякого критического отношения к пьесе, она при первом чтении сильно взволновала меня, и поэтому на читателей, у которых эмоциональность больше преобладает, она окажет такое действие в еще большей степени. И это вторая, очень важная сторона. А теперь другая сторона медали: во-первых — это чисто формальный момент, — раз уже ты писал стихами, то мог бы отделать свои ямбы несколько более художественно. В общем однако, как ни будут шокированы этой небрежностью профессиональные поэты, я вижу в ней преимущество, ибо у наших поэтических эпигонов не осталось ничего кроме гладкой формы. Во-вторых: задуманная коллизия не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг. Я могу поэтому лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии. Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой коллизии? Валатасар может конечно вообразить, что если бы Зикинген не скрыл свой мятеж под маской рыцарского междоусобия, а водрузил бы знамя борьбы с императором и открытой войны с князьями, то он победил бы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию? Зикинген (и вместе с ним Гуттен, в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства. Он погиб потому, что как рыцарь и как представитель гибнущего класса восстал против существующего или вернее против новой формы существующего. Если отнять от Зикингена то, что принадлежит данному индивиду с его особенным образованием, природными задатками и т. д., то останется Гетц фон Берликинген. В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адекватной форме, и поэтому

Гете справедливо выбрал его в герои. Поскольку Зикинген — и даже отчасти Гуттен, хотя по отношению к нему, как ко всем идеологам класса, подобные формулировки следовало бы значительно видоизменить, — борется против князей (ведь его ход против императора объясняется только тем, что тот из императора рыцарей превращается в императора князей), постольку он на самом деле просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически. Что он начинает восстание под маской рыцарской войны, означает всего-навсего, что он начинает его как рыцарь. Чтобы начать дело иначе, он должен был бы прямо и сразу же апеллировать к городам и крестьянам, т. е. к тем самым классам, развитие которых = отрицанию рыцарства.

Если поэтому ты не хотел просто свести коллизию к той, которая изображена в Гетце фон Берлихингене, — а это не вошло в твои планы, — то Зикинген и Гуттен должны были погибнуть потому, что они в своем воображении были революционерами (последнего нельзя сказать о Гетце) и, совсем как образованное польское дворянство 1830 г., сделали, с одной стороны, орудиями современных идей, а с другой — фактически представляли реакционный классовый интерес. Но в таком случае дворянские представители революции, — за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой императорской власти и кулачном праве, — не должны были значит так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя: представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были составить существенный активный фон. Тогда ты мог бы, и в гораздо большей мере, выразить как раз наисовременнейшие идеи в их чистой форме, теперь же главной идеей фактически остается у тебя наряду с религиозной свободой гражданское единство. Тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю Шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим крупнейшим недостатком. Не впал ли ты до известной степени сам, как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?

Я не нахожу, далее, характерных черт в характерах. Я исключаю Карла, Валтасара и Рихарда Трирского. А между тем найдется ли эпоха с более резкими характерами, чем XVI век? Твой Гуттен, по-моему, уж слишком представляет одно лишь «воодушевление»: это скучно. Разве он не был в то же время умницей, отчаянным остряком, и разве ты стало быть не поступил с ним крайне несправедливо?

В какой мере даже твой Зикинген, который кстати тоже нарисован слишком абстрактно, является жертвой коллизии, независимой от всех его расчетов, видно из того, как он вынужден проповедывать своим рыцарям дружбу с городами и т. д. и как охотно, с другой стороны, он сам расправляется с городами по способу кулачного права.

В отдельных местах я должен упрекнуть тебя за чрезмерное рефлексирование действующих лиц над самими собой, что происходит от твоего пристрастия к Шиллеру. Так например на стр. 121, где Гуттен рассказывает Марии историю своей жизни, было бы в высшей степени естественно вложить в уста Марии слова:

«Вся гамма ощущений» и т. д. до
«И тяжелей она, чем бремя лет».

Предшествующие стихи от «Говорят» до «постарела» могли бы следовать за этим, но замечание «Лишь ночь нужна, чтоб девушка созрела и стала женщиной» (хотя оно показывает, что Мария знает не одну только абстракцию любви) совершенно излишне; и уж совсем недопустимо, что Мария начинает с рефлексии над своим собственным «постарением».

Лишь после всего того, что она успела, рассказать в «один» час, она могла бы дать своему настроению общее выражение в сентенции о своем постарении. Далее, в следующих строчках меня шокируют слова «сочла я это правом» (т. е. счастье). К чему было отнимать у Марии ее наивный взгляд на мир, свойственный ей согласно ее прежним высказываниям, превратив его в правовую доктрину? Может быть как-нибудь в другой раз я изложу тебе мое мнение подробнее.

Особенно удачной я считаю сцену между Зикингеном и Карлом V, хотя диалог тут с обеих сторон слишком уж переходит в адвокатскую речь; очень удачны также сцены в Трире. Превосходны изречения Гуттена о мече.

Но на этот раз хватит.

В лице моей жены ты приобрел горячего поклонника твоей драмы. Только Марией она не довольна.

Привет.

Твой К. М.

Кстати: в статье Энгельса «По и Рейн» имеются зlostные опечатки, список которых я помещаю на последней странице настоящего письма.

IV. ЭНГЕЛЬС — ЛАССАЮ

6, Торнклиф Гров, Манчестер, 18 мая [1859 г.]

Дорогой Лассаль!

Вас вероятно несколько удивило, что я вам так долго не писал, тем более, что я еще был в долгу перед вами с моим суждением о вашем Зикингене. Но именно это-то обстоятельство и удерживало меня так долго от писания. При теперешнем повсеместном оскудении изящной литературы мне редко случается прочесть подобное произведение, и уже очень давно не случилось прочесть такое, чтобы в результате чтения у меня установилась подробная оценка, сложилось какое-нибудь определенное твердое мнение. Появляющаяся мазня не стоит этого труда. Даже те немногие сравнительно хорошие английские романы, которые я еще время от времени читаю, например Теккерея, несмотря на их неоспоримое литературное и культурно-историческое значение, ни разу не могли настолько заинтересовать меня. Но благодаря столь долгому неупражнению моя способность суждения сильно притупилась, и должно пройти не мало времени, прежде чем я могу позволить себе высказать определенное мнение. Однако ваш Зикинген заслуживает иного отношения, чем все эти литературные изделия, и поэтому я не пожалел на него времени. Первое и второе чтение вашей во всех смыслах, по теме и по обработке, национальной немецкой драмы взволновало меня душевно до такой степени, что я должен был на время отложить ее; тем более, что столь огрубевший в эти скудные времена вкус довел меня (я должен к моему стыду признаться в этом) до того, что порой даже малоценные вещи производят на меня при первом чтении известное впечатление. Так вот, чтобы добиться вполне беспристрастного, вполне «критического» отношения, я на время отложил Зикингена в сторону, т. е. я одолжил его некоторым знакомым (здесь еще есть несколько более или менее литературно-образованных немцев). *Habent sua fata libelli*, — когда их одалживаешь, они редко возвращаются, и моего Зикингена мне тоже пришлось добывать обратно силой. Могу вам сказать, что при третьем и четвертом чтении впечатление осталось то же, и в уверенности, что ваш Зикинген вполне способен выдержать критику, я произнесу теперь свое критическое слово.

Я знаю, что для вас не будет большим комплиментом, если я скажу, что ни один из нынешних официальных поэтов Германии и отдаленно не был бы в состоянии написать подобную драму. А между тем таков факт,

и факт слишком характерный для нашей литературы, чтобы можно было умолчать о нем. Остановившись сначала на формальной стороне, отмечу, что я был весьма приятно поражен искусной завязкой и насквозь драматическим характером пьесы. В области версификации вы, правда, позволили себе некоторые вольности, но они мешают более в чтении, чем со сцены. Я хотел бы прочесть вашу драму в обработке для сцены; в своем настоящем виде она наверное не может быть поставлена. У меня был здесь один молодой немецкий поэт (Карл Зибель), мой земляк и отдаленный родственник, довольно много работавший в области сцены; как запасный прусской гвардии он возможно будет в Берлине, и тогда я может быть позволю себе дать ему записочку к вам. Он очень высокого мнения о вашей драме, но считает ее совершенно непригодной для постановки из-за слишком длинных монологов, во время которых только один из актеров играет, а остальным приходится дважды и трижды исчерпывать свою мимику, чтобы не стоять простыми статистами. Два последних акта вполне доказывают, что вам было бы не трудно сделать диалог быстрым и оживленным, а так как за исключением отдельных сцен (что бывает во всякой драме) это можно было сделать и в первых трех актах, то я не сомневаюсь, что при обработке вашей пьесы для сцены вы учли это обстоятельство. Идейное содержание должно конечно при этом пострадать, но это неизбежно, и полное слияние большой идейной глубины, сознательного исторического содержания, которые вы справедливо приписываете немецкой драме, с шекспировской живостью и богатством действия, будет вероятно достигнуто лишь в будущем и может быть вовсе даже не немцами. Правда, именно в этом слиянии я вижу будущее драмы. Ваш Зикинген целиком на правильном пути, главные действующие лица в самом деле представляют определенные классы и направления, а стало быть и определенные идеи своего времени, и очерпают мотивы своих поступков не в мелочных индивидуальных вожделениях, а в том историческом течении, которое является их носителем. Однако желательный дальнейший шаг вперед должен был бы заключаться в том, чтобы эти мотивы были более живо, активно, так сказать самородно выдвинуты на первый план ходом самого действия и чтобы, наоборот, аргументирующие речи (в которых я впрочем с удовольствием признал ваш старый ораторский талант, блиставший на суде присяжных и в народном собрании) становились все более излишними. Вы сами повидимому считаете целью этот идеал, поскольку вы устанавливаете различие между драмой для сцены и литературной драмой; мне думается, что Зикингена можно было бы, хотя и с трудом (ибо достигнуть совершенства действительно не так просто), переделать в указанном смысле в драму для сцены. С этим связана характеристика действующих лиц. Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает, и с этой стороны идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы могли бы без вреда посчитаться немножко больше с значением Шекспира в истории развития драмы. Но это второстепенные вопросы, и я отмечаю их только для того, чтобы вы видели, что я призадумался и над формальной стороной вашей пьесы.

Что касается исторического содержания, то вы очень наглядно и с доволительным указанием на последующее развитие изобразили обе стороны

тогдашнего движения, наиболее важные для вас: национальное движение дворянства, представляемое Зикингеном, и гуманистически-теоретическое движение с его дальнейшим развитием в богословской и церковной области с реформацией. Больше всего нравятся мне здесь сцены между Зикингеном и императором, между папским легатом и архиепископом Трирским (здесь вам удалось в то же время, в антитезе между светским, эстетически и классически образованным, политически и теоретически дальновидным легатом и ограниченным немецким князем-попом, дать прекрасную индивидуальную характеристику, однако же прямо вытекающую из репрезентативного характера обоих действующих лиц); большой меткостью отличается характеристика и в сцене Зикингена с Карлом. Введя автобиографию Гуттена, содержание которой вы справедливо называете существенным, вы прибегли, правда, к весьма рискованному способу вставить это содержание в вашу драму. Очень важен также разговор между Валтасаром и Францем в V акте, где первый излагает своему господину подлинно революционную политику, которой он должен был бы держаться. Затем наступает собственно трагический момент; и именно поэтому мне кажется, что на него следовало бы сильнее указать уже в третьем акте, где для этого имеется не один повод. Но я опять возвращаюсь к второстепенным вопросам. Положение городов и князей тоже изображено во многих местах с большой ясностью, и этим так сказать официальными элементами тогдашнего движения приблизительно исчерпаны. Но недостаточно, как мне кажется, подчеркнуты у вас неофициальные, плебейские и крестьянские элементы с их сопутствующим теоретическим выражением. Крестьянское движение было на свой лад столь же национально, столь же направлено против князей, как и движение дворянства, а колоссальные размеры борьбы, в которой оно пало, резко контрастируют с той легкостью, с какой дворянство, предоставив Зикингена его собственной участи, примирилось со своим историческим призыванием к придворному раболепству. Мне кажется поэтому, что и при вашем взгляде на драму, который, как вы конечно поймете, с моей точки зрения слишком абстрактен, недостаточно реалистичен, крестьянское движение заслуживало большего внимания; крестьянская сцена с Иостом Фрицем, правда, характерна, и индивидуальность этого «смутьяна» изображена очень правильно, но она недостаточно веско представляет, в противовес дворянскому движению, тогда уже высоко поднявшуюся волну крестьянского движения. При моем взгляде на драму, согласно которому за идейным моментом не следует забывать реалистический, за Шиллером — Шекспира, привлечение тогдашней столь удивительно пестрой плебейской общественности доставило бы еще совсем новый материал для оживления пьесы, неоценимый фон для разыгрывающегося на авансцене национального движения дворянства, оно впервые осветило бы по-настоящему само это движение. Какие причудливо характерные образы дает эта эпоха разложения феодальных связей в лице правящих королей без копейки денег, нищих ландскнехтов и авантюристов всякого рода — фальстафовский фон, который в исторической драме этого типа был бы еще эффектнее, чем у Шекспира! Но кроме того мне кажется, что именно это невнимание к крестьянскому движению есть тот пункт, по вине которого вы и само национальное движение дворянства изображали, по-моему, неправильно в одном отношении и вместе с тем упустили из виду подлинно трагический элемент в судьбе Зикингена. По-моему, масса тогдашнего имперского дворянства не думала о заключении союза с крестьянами; этого не допускала его зависимость от доходов, связанных с угнетением крестьян. Союз с городами был уж скорее возможен; но он не состоялся или состоялся лишь весьма частично. Но торжество национальной дворянской революции было возможно

только в союзе с городами и крестьянами, особенно с последними; и как раз в том-то и заключается на мой взгляд трагический момент, что союз с крестьянами, это основное условие, был невозможен, что политика дворянства неизбежно должна была поэтому быть мелочной, что в тот самый момент, когда оно захотело встать во главе национального движения, масса нации, крестьяне, запротестовала против его руководства, и оно неизбежно должно было пасть. Я не могу судить о том, насколько исторически правильно ваше допущение, что Зикинген находился в некоторой связи с крестьянами, да это и не важно. Впрочем, насколько я помню, писания Гуттена там, где они обращаются к крестьянам, легко обходят этот щекотливый вопрос о дворянстве и пытаются направить всю ярость крестьян главным образом против попов. Однако я отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян. Но тогда тотчас же получается то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления. Опуская этот момент, вы сводите трагический конфликт к более мелким размерам, к тому, что Зикинген вместо прямой борьбы с императором и имперскими чинами выступил только против одного князя (хотя вы здесь и вводите с верным чутьем крестьян), и он гибнет у вас просто из-за равнодушия и трусости дворянства. Но эта трусость была бы мотивирована гораздо лучше, если бы уже раньше был сильнее подчеркнут нарастающий гнев крестьян и вызванный прежними крестьянскими мятежами и «бедным Конрадом» несомненный переход дворянства к более консервативному настроению. Впрочем все это только один из способов, каким можно было ввести в драму крестьянское и плебейское движение, и существует по крайней мере еще десяток других, столь же или более подходящих.

Как вы видите, я подхожу к вашему произведению с очень высокой меркой — именно с *наивысшей* как в эстетическом, так и в историческом отношении, и то обстоятельство, что только при таком подходе я могу сделать кое-какие возражения, явится для вас лучшим доказательством моей высокой оценки. Ведь *взаимная* критика давно уже приобрела среди нас, в интересах самой партии, крайне откровенный характер, вообще же мне и всем нам всегда очень приятно, когда появляется новое доказательство, что в какой бы области ни выступила наша партия, она всегда обнаруживает превосходство. А таково ваше выступление и на этот раз.

Мировые события принимают повидимому весьма отраднй оборот. Едва ли можно представить себе лучшую основу для радикальной немецкой революции, чем та, которая создается франко-русским союзом. Нам, немцам, вода должна подступить к самому горлу, чтобы мы всей массой пришли в тевтонское бешенство; а на этот раз опасность захлебнуться подходит повидимому совсем близко. Тем лучше. При таком кризисе все существующие силы должны погибнуть и все партии распасться одна за другой, от «*Kreuzzeitung*» до Готфрида Кинкеля и от графа Рехберга до «Геккера, Струве, Бленкера, Цитца и Блюма». В таких боях должен наступить момент, когда только самая непримиримая, самая решительная партия в состоянии спасти нацию, и вместе с тем должны быть даны условия, при которых только и будет возможно окончательно выбросить за борт весь старый хлам — внутреннее разделение, с одной стороны, и связанные с Австрией польские и итальянские привески, с другой. В прусской Польше мы не должны будем уступить ни пяди, а что

¹ Конец письма не найден — *Ред.*

V. ЛАССАЛЬ — МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ

Берлин, пятница, 27 мая [1859 г.]

Дорогие Маркс и Энгельс!

Я наполовину завален работами, наполовину чуть не задушен личными делами, так что всякое обстоятельное писание для меня настоящая мука. Тем не менее я чувствую настойчивую потребность ответить возможно более исчерпывающим образом на любезные письма твое и Энгельса, который тоже написал мне очень подробно о моей драме. Ответ на оба письма лучше всего соединить вместе, потому что ваши возражения, не будучи прямо тождественны, все-таки в главном касаются одних и тех же пунктов.

Вы найдете вполне естественным, дорогие друзья, если я попытаюсь по возможности доказать свою правоту в тех пунктах, в которых я считаю себя правым, находя ваши соответствующие возражения либо вообще неверными, либо опровергнутыми той или другой упущенной вами из виду стороной драмы. В этом вы конечно усмотрите отнюдь не личное тщеславие, не желающее терпеть никаких порицаний, а лишь тот же законный интерес к предмету, который и вас самих побудил написать мне так обстоятельно, за что я вам горячо благодарен, и который с моей стороны ни в коем случае не должен быть меньше оттого, что я — автор.

Относительно письма Энгельса я должен прежде всего заметить, что важнейшие из его возражений заранее отведены мною в письме о трагической идее моей драмы, которое я послал тебе, дорогой Маркс, одновременно с этой последней. Энгельс, правда, отнюдь не проглядел эту трагическую идею, которую я изложил в упомянутом письме и которая в самой драме выступает во всем пятом акте — в диалоге между Валтасаром и Францем, в крестьянской сцене, в монологе Франца и в его пылких излияниях в сцене перед вылазкой, — но зато и не уловил ее во всей ее отчетливости и цельности.

Прошу тебя поэтому переслать ему одновременно с этим письмом и то письмо, если только оно, как я надеюсь, еще у тебя: иначе и настоящее послание покажется ему висящим в воздухе, так как я тут везде предполагаю известными изложенные там идеи и молчаливо имею их в виду.

Что касается теперь твоей критики, дорогой Маркс, то не могу тебе выразить, до какой степени она меня обрадовала. Ибо можно быть уверенным, что критика, столь четкая, ничего не упустит из виду и не поддастся личному пристрастию. И потому, если ты так хвалишь композицию и действие, если ты заявляешь, что чтение моей драмы произвело на тебя такое сильное впечатление — и то же самое пишет мне Энгельс! — то я конечно могу быть весьма доволен. В особенности меня радует последнее. Ведь сам автор никогда не может судить, увлекательно ли его произведение или нет, а я всегда считал способность трагедии производить впечатление, бросать читателя в пот, лучшим ощутительным признаком ее достоинства.

Очень насмешило меня то, что ты даже ставишь мне в заслугу мои плохие стихи! Насмешило это меня не столько странностью такого утешения, сколько большим сходством наших характеров, которое тут проявилось. Ведь я действительно — придавая большое значение силе языка — часто вполне сознательно и с почти умышленным равнодушием нарушал правила стихосложения. В процессе творчества мне это казалось настолько безразличным, что я даже не дал себе труда исправить стих там, где исправить его было бы легче всего на свете. К тому же другие места показывают, что я умею сочинять и другие стихи. Но оппозиция против смехотворно преувеличенного значения, какое обыкновенно придают стиху, увлекла меня к этой презрительной небрежности. При всем том мне те-

перь жаль, что я слишком поддался этому презрению. Кое-кого это может смутить, и вообще, когда хочешь произвести впечатление, важно сделать вещь безупречной даже в мелочах. Однако это уже *moutarde après dîner* (горчица после обеда)!

Затем ты переходишь «к другой стороне медали». При этом ты сперва еще соглашаешься со мной, что изложенная в моем письме трагическая идея не только проведена в драме, но что эта коллизия «не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг.». «Я могу поэтому,—прибавляешь ты,—лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии».

В этих заявлениях содержится в сущности наивысшее одобрение, какого только я добивался для своей трагедии и на какое рассчитывал. Это как раз тот пункт,—и таково собственно говоря всегда должно быть отношение трагической идеи драмы к самой драме,—ради которого одного лишь я и написал всю вещь и изображению которого я строго подчинил все остальное. Таким образом в этих-то твоих заявлениях я и нахожу наивысшее для меня оправдание моей драмы в целом — разумеется лишь со стороны ее содержания.

Какие же недостатки ты все-таки находишь в этом отношении?

Ты говоришь: «Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой коллизии?» Несомненный утвердительный ответ на этот вопрос вытекает уже из того, что эта трагическая коллизия есть формальная и, как я уже разъяснил в своем письме, не специфически-свойственная какой-либо определенной революции, но постоянно повторяющаяся во всех или почти всех прошлых и будущих революциях. Коллизия (иногда преодолеваемая, иногда нет), — словом, трагическая коллизия самой революционной ситуации, бывшая налицо как в 1848 и 49 гг., так и в 1792 г. и т. д. Эта коллизия присутствует таким образом в большей или меньшей степени во всякой революционной ситуации. Уже по одному этому ее можно было приписать и революционному положению 1522 года, если бы она даже и не играла тогда особенно важной роли.

Но исторически нет никакого сомнения, что эта коллизия существовала и тогда весьма реально, что она во всяком случае была тоже очень важной, хотя и не последней причиной гибели Зиккингена, и что она — дипломатически-реалистическое направление Зиккингена, отказ от открытого обращения к революционным силам — даже была единственной виновницей того, что Зиккинген погиб именно так, как он погиб, т. е. что он погиб, не ввязавшись вообще ни в какую действительную борьбу, что он был сразу же задушен, не имея даже возможности развернуть свои силы. Валтасар очень выразительно подчеркивает, что он мог бы погибнуть и действуя иначе, но что это была бы гибель совершенно иного рода:

Ты б мог изведать в исполинской схватке
Всю мощь той почвы, что тебя вскормила,
Ты пал бы, как стоял, во всей красе!
Всего страшнее не погибель — страшно,
Что, погибая, падаешь в расцвете
Неизжитых, непобежденных сил.
Вот что герою тяжелей всего!

В самом деле, если бы Зиккинген обратился с открытым воззванием к революционным элементам или, что сводится приблизительно к тому же, дождал бы еще 1½ года и дожил бы до начала крестьянских войн.

бы, если бы Зикинген подождал еще два года и оба движения встретились бы друг с другом?

Что получилось бы? Если исходить из конструктивной философии истории Гегеля, усердным приверженцем которой являюсь я сам, то придется конечно ответить вместе с вами, что в конечном счете все же неизбежно наступила бы и должна была наступить гибель, потому что Зикинген, как вы говорите, представлял реакционный *au fond* интерес и необходимо должен был представлять его, ибо дух времени и классовая принадлежность не давали ему возможности твердо стать на другую позицию.

Но это критико-философское понимание истории, в котором одна железная необходимость цепляется за другую и которое именно поэтому угашает действительность индивидуальных решений и поступков, как раз потому и не может явиться почвой ни для практически революционного действия, ни для драматического представления.

Для обоих этих элементов предпосылка преобразующей и решающей ответственности индивидуальных решений и поступков является, наоборот, той необходимой почвой, вне которой драматически зажигательный интерес так же невозможен, как и смелый подвиг.

(Правда, если в трагедии прославляется решающее значение индивидуального действия, отрешенного и оторванного от общего содержания, с которым оно оперирует и которое его определяет, то трагедия превращается в бессмысленную нелепость. Но такого разрыва этих двух факторов вы уже конечно не поставите в упрек моей пьесе, хотя в дальнейшем я и укажу на одну упущенную вами из виду сторону дела, с которой ошибочное индивидуальное решение Зикингена необходимо определяется именно той общей ситуацией, в которой он находится и на которую вы нападаете.)

Но если даже целиком придерживаться этого критически-конструктивного взгляда на историческую необходимость, все еще остается та возможность, что в случае слияния обоих этих движений, зикингеновского и крестьянского, разыгрался бы эпизод вроде того (привожу лишь приблизительно, а не аналогичный пример), каким в Англии было выступление индепендов.

Союз между Зикингеном и крестьянами был вполне возможен в особенности потому, что идея крестьянской войны (чего, как мне кажется, вы совершенно не заметили и к чему я возвращусь ниже) была в конечном счете не менее реакционной, чем идея Зикингена.

Ты далее говоришь: «Валтасар может конечно вообразить, что если бы Зикинген не скрыл свой мятеж под маской рыцарского междоусобия, а водрузил бы знамя борьбы с императором в открытой войне с князьями, то он победил бы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию?»

В выше сказанном уже дан ответ на этот вопрос.

Здесь следует прибавить еще только одно. Если Валтасар, этот человек, поставленный в центр всей ситуации и так пронизательно ее постигающий, может предаваться подобной иллюзии, как ты и сам допускаешь, то все сказано. Ведь в драме мы имеем дело не с критически-философской истиной, а с эстетической иллюзией и правдоподобием. Если моя формальная трагическая идея, согласно которой Зикинген погибает только оттого, что он не преодолел вышеупомянутой коллизии и не решился своевременно на революционное действие, так проведена через всю пьесу и правдоподобно представленную в ней ситуацию, что даже столь пронизательный человек, как Валтасар, может питать иллюзию, будто Зикинген был бы в силах вызвать революцию и с ее помощью победить, — то для зрителя такое заблуждение ко-

нечно еще гораздо более возможно. А в этой эстетической иллюзии и заключается все дело. Драма — не критико-философский трактат по истории.

Ты продолжаешь: «Зикинген (и вместе с ним Гуттен, в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства». (Если под этим «лукавством» ты понимаешь, как и я в моем письме, отсутствие у него решимости на революционное действие, то он погиб именно из-за него, чем бы ни была в свою очередь неизбежно вызвана сама эта нерешительность.)

«Он погиб, — говоришь ты, — потому, что как рыцарь (этот момент был, как вскоре обнаружится, принят мною во внимание в высшей степени) и как представитель гибнущего класса (поскольку этот момент совпадает с предыдущим, он был принят во внимание вместе с ним; поскольку же он с ним не совпадает, он не был, и справедливо не был, принят во внимание) восстал против существующего или вернее против одной формы существующего».

Теперь я должен оправдать оба мои замечания, приведенные в скобках. Что он погиб оттого, что выступил «как рыцарь» против одной формы существующего, это, говорю я, очень резко подчеркнуто мною. Ибо оттого, что он внутренне еще не может до конца порвать со старым, к которому он сам еще причастен и представителем которого он таким образом является, — оттого-то и происходит в конечном счете дипломатическое искажение его восстания, его не-революционное выступление и провал последнего! Этот момент составляет даже всю ось пьесы, и кроме того он резко подчеркнут в отдельных деталях, ибо именно отсюда из этого ветхого рыцарского Адама, который вдруг врывается в его революционные решения, и вытекает то, что он так ценит рыцарские орудия своей власти, свои замки, Эбернбург и т. д., вытекает мучительная борьба, которая происходит в его душе, когда Валтасар убеждает его выбросить вон весь этот старый рыцарский хлам. И в высшей степени резко подчеркнута у меня это противоречие Валтасаром и самим драматическим развитием всей пьесы, поскольку Валтасар и ход событий насильно ставят Зикингена перед альтернативой: если он действительно хочет достигнуть своих революционных целей, он должен пожертвовать всеми своими замками, в том числе и Эбернбургом — «моей твердыней и моим оплотом, — короче, всем своим рыцарским существованием, и, как беглый пролетарий, броситься нищим в объятия крестьянства. Уже в конце четвертого акта, когда он вынужден распустить войско, чтобы не разместить его по замкам своих друзей и тем самым не задушить их сразу же, начинает сказываться это противоречие между его революционными целями и всем его рыцарским существованием и способом войны, а в пятом акте Валтасар четко резюмирует и чрезвычайно резко подчеркивает противоречие между его революционными тенденциями и его рыцарством с возможными в пределах последнего средствами борьбы:

Как, государь! Ужель сия нора —
Предел могущества и сил Франциска?
В вас, в вашем имени вся ваша мощь,
В доверии, с каким душа народа
Сочувственно несется к вам навстречу.
И стены замка только отделяют
От вашей силы, от народа вас, и т. д.

И он указывает ему на грядущее крестьянское восстание. В целях овладения этим последним он требует от него, чтобы он одним взмахом отбросил от себя всю рыцарскую ветошь и предложил сдачу всех замков.

включая Эбернбург. Рыцарский Адам в Зикингене страстно восстает против этого:

Ты бредишь, Валтасар! Как? Эбернбург —
Мою твердыню, мой оплот — я должен....

Но Валтасар резко противопоставляет ему в ответ одно только слово:

Там за стенами встретит вас народ.

Зикинген переживает тяжелую борьбу, но он выходит из нее победителем. Он переламывает себя и уполномочивает Валтасара на все. Он так хорошо понял сделанный ему упрек, что повторяет его дословно (5-я сцена) в своем монологе:

Он прав! Мне эти стены не оплот;
А только грань меж мною и народом.
Там, там он ждет меня под тяжким гнетом,
Ждет с страстной тоской, и т. д.
Иду, Германия, и т. д.

Теперь, в этот момент своего, я сказал бы, апофеоза, он умеет победить в себе, но слишком поздно, рыцарского Адама, он сам называет «обломками бесплодного лукавства» свое прежнее обращение к рыцарским средствам борьбы и связанное с этим дипломатически-расчетливое поведение в самый разгар революционного действия. Он восклицает:

... и еще тесней
Сжимает грудь мою змея укора.
Мой меч, теперь ты должен разрубить мне два узла,
Один из них разрубишь ты наверно.

И особенно ясно он выражает это в обращении к Марии, с которым на устах и бросается в гибель:

Твой жребий поручаю добрым силам,
Меня же призывают те, что мстят
За заблуждение!

При чем здесь конечно следует понимать не простое заблуждение ума, а ту нравственную вину, что посреди революционной стихии он не был до конца революционером, оставался во власти комбинаций своего класса, и что он должен искупить это противоречие действительной или хотя бы только возможной гибелью:

Иду, Германия! Будь ты мне искупленьем
От всех пороков и земных сует:
Коль меж тобой и мной воздвиг я стену,
Так сам же я дерзну ее сломить!

Стало быть, когда ты говоришь: «Что он начинает восстание под маской рыцарской войны, означает всего-навсего, что он начинает ее как рыцарь», — то это в высокой мере верно, но в такой же мере и принято во внимание в моей драме. Ибо ведь если он хочет действовать дипломатически-лукаво, орудуя своими рыцарскими средствами борьбы, вместо того чтобы с самого начала открыто обратиться к революции, то и это не его случайное индивидуальное свойство, а опять-таки результат того что он своей позицией и классовым положением тесно связан с существующим порядком, с рыцарством, чем и определяется его индивидуальность. (Как у нас например лучшие буржуа, сами по себе наиболее демократичные, обыкновенно не становятся подлинными)

революционерами, потому что они сами участвуют в условиях жизни своего класса и связаны с ним.)

То, что вы повидимому принимаете за чисто случайную индивидуальность Зикингена, я рассматриваю, наоборот, как неизбежное, удерживающее его от решительного революционного шага воздействие его классового положения, с которым он еще тесно связан. В том же смысле, в каком Карл V говорит во втором акте:

Кто ж образует сам свои решения,

А не находит их в готовом виде

В железных письменах своей среды?

И что это воззрение есть единственно правильное, вытекает еще из двух следующих соображений: 1) в противном случае, именно потому, что в остальном я приписал Зикингену вполне революционные цели, было бы совершенно непонятно, почему революционный элемент все же по-настоящему не прорывается у него наружу. Так как в отношении своих целей, ума и воли, во всем, что составляет сознательную сторону человеческого духа, Зикинген вполне революционер, то этот провал может объясняться только тем, что бессознательная сторона его существа, его натура, т. е. как раз та сторона, которая является продуктом условий существования индивида, остается еще тесно связанной с существующим строем, остается не-революционной.

2) Это вытекает далее из того, что именно в этом отношении все трое, Зикинген, Гуттен и Валтасар, желающие в общем одного и того же, отличаются друг от друга, в точном соответствии с условиями своего существования, как раз тем, как они этого желают. Гуттен, хотя и рыцарь по рождению, но в качестве настоящего идеолога вообще независимый от каких бы то ни было сословных уз, всей своей жизнью порвавший со своим классом, наконец принадлежащий к рыцарству лишь по праву рождения, а не по своему реальному положению и материальным условиям, — Гуттен стоит в третьем акте за восстание, как чистый идеалист; он — за открытый призыв повстанцев к дворянству, городам и крестьянам. Дипломатические ходы Зикингена не по нем. Но как идеолог-идеалист он стоит за восстание только ради чисто духовных, религиозных целей. Увлеченный гораздо более обширными государственно-реальными целями Зикингена и силой, с какой тот развертывает перед ним свой величественный замысел, он тотчас же с бурным воодушевлением, свойственным ему как чистому идеалисту, присоединяется к политическим планам Зикингена, предоставляя ему их детальное выполнение как нечто такое, в чем он сознает себя менее компетентным. Валтасар, человек низкого происхождения, не связанный с условиями классового положения Зикингена, за восстание в его истинном и революционном виде. Только один Зикинген стремится к восстанию и представляет его себе в не-революционной, реалистично-дипломатической форме, которая, с одной стороны, в отношении цели выходит далеко за пределы непосредственных планов Гуттена, но с другой — несомненным образом отмечена влиянием его классового положения, материальных средств и реальной позиции, словом является продуктом еще не умершего в нем рыцарского Адама.

Все трое различаются таким образом между собой тем, как они хотят, — в точном соответствии с теми условиями существования, с которыми они связаны или не связаны.

Мимоходом замечу здесь еще кое-что против Энгельса. Вы оба находите, что и Зикинген обрисован все-таки слишком абстрактно. Об этом, как обо всех сторонах формального выполнения, я не позволю себе спорить.

Это вам как непредубежденным читателям конечно виднее, чем автору. Я спорю только о вопросах, относящихся к содержанию. Но когда Энгельс совершенно справедливо замечает: «Личность характеризуется не только тем, чего она хочет, но и тем, как она этого хочет», то я позволю себе заметить, что, согласно сказанному, все три лица представляются мне весьма определенно охарактеризованными в том отношении, как они хотят достигнуть общей цели.

Далее ты говоришь: «Зикинген погиб потому, что как представитель гибнущего класса восстал против одной формы существующего». Поскольку этим утверждается лишь то, что он погиб именно потому, что бессознательно и произвольно был связан с условиями существования этого класса и поэтому не мог добиться решительного выявления противоречий, — постольку это совпадает с вышесказанным: он погиб потому, что восстал как рыцарь против одной формы существующего, что и было, как я уже заметил, полностью принято мною во внимание и даже сделано центральной идеей пьесы. Поскольку же твое утверждение идет дальше, то изобразить Зикингена таким я не считал возможным. Со стороны его сознания я приписал ему наоборот самые революционные цели и изобразил его человеком, способным подняться и до всех дальнейших революционных выводов, к которым его мог бы привести практический успех революции, если бы он победил и продолжал жить.

Ведь я наделил его даже способностью — правда, лишь в момент апофеоза, правда, когда это уже слишком поздно, — совлечь с себя и отбросить прочь все рыцарское.

Что я имел право приписать ему такую революционную позицию, вытекает из следующего: он стоит в начале революции, он занимает хотя бы в одном направлении революционную позицию. Последняя является таким образом неким весьма двусмысленным «в себе», которое, если движение продолжится и толкнет его к дальнейшим выводам, может развиться как в том смысле, что он эти выводы сделает, так и в том, что он выступит против них с реакционной враждебностью. Насчет его класса нельзя конечно усомниться ни на одно мгновение, что он занял бы эту последнюю позицию. И я готов также согласиться с тобою, хотя и можно было бы кое-что возразить на это, что исторически определенным индивидом Зикинген вел бы себя как классовый индивид и взял бы именно это направление. Но абсолютной необходимости для любого индивида в этом нет. Индивид может все-таки целиком подняться над своим классом, в особенности когда он получил идеологическое образование, — а он получил его отчасти благодаря своему alter ego Гуттену, отчасти же и в достаточной мере благодаря самому себе; сам Гуттен говорит о нем, что он настолько eruditus, насколько это вообще возможно sine literis (без знания греческого и латинского языков). Так, Сен-Жюст был маркизом, Сен-Симон — пером Франции, а более близкий к той эпохе Ян Жишка был тоже рыцарем и дворянином. В жизни Зикингена мы имеем кстати то в высшей степени удобное для драматического поэта обстоятельство, что он погибает в самом же начале движения, что он не пережил ни одной действительной ситуации, которая поставила бы его перед указанной альтернативой, что поэтому нет ни одного совершенного им факта, дающего возможность судить, как он отнесся бы к дальнейшему развитию движения: все его бумаги и более или менее выработанные планы погибли при пожаре Эбернбурга, так что все известное относительно последних не выходит из круга все того же первоначального революционного «в себе» и поэтому производит очень благоприятное впечатление (не говорю уже о том, что имеется

много весьма любопытных, хотя прямо и не решающих симптомов и в пользу его возможного дальнейшего развития). Я имел таким образом право представить его так, как будто его личный гений мог в случае надобности подняться до всех революционных выводов, именно потому, что он фактически не дожидаясь до противоположной эволюции, и следовательно это можно было представить в достаточно приемлемой и правдоподобной форме, с достижением полной эстетической иллюзии, не нарушаемой никакими фактами из области народного сознания или истории. Но раз я имел на это право, то ясно само собой, что я и очень много выигрывал от этого. Действительно, как мог бы я возбудить интерес к личности, как мог бы сам заинтересоваться личностью, преследующей сознательно реакционные дворянские цели, являющейся сознательным представителем этого класса — не только против князей, но и против народа? Но тем более потрясающим и тем более революционным одновременно должно было стать впечатление, когда я одарил его всевозможными революционными добродетелями, частью действительными, частью внутренне для него возможными, и когда он тем не менее погибает у меня оттого, что он не вытравил из своей природы одну последнюю преграду, произвольный продукт его классового положения, еще отделяющую его от законченного революционера.

Если поэтому ты говоришь, что Зикинген должен погибнуть у меня оттого, что он был революционер лишь «в своем воображении», то так оно и есть в моей трагедии, ибо если от вполне законченного революционера его отделяет хотя бы только одна единственная преграда, значит он и остается революционером лишь «в воображении». Одна преграда или сто преград — это безразлично: несоединимое останется несоединимым. Но сверх этой одной преграды я не хотел и не мог, при поставленной мною цели, создавать еще другие.

Ты думаешь, что Зикинген отличается от Гетца только тем, что он вообразил себя революционером, и что если отнять у Зикингена образование, врожденные задатки и т. д., то получится Гетц. Против этого я должен выдвинуть два обстоятельства:

1) хотя это в сущности совершенно безразлично для моей драмы, — ты тут решительно ошибаешься и насчет исторического Зикингена. Я целиком подписываюсь под твоей характеристикой Гетца как «жалкого субъекта», и лишь отсутствием исторического чутья у Гете я всегда объяснял себе то, что он мог сделать героем трагедии этого совершенно ретроградного молодца. С твоей похвалой по адресу Гете я не могу поэтому согласиться, ибо ведь Гете желает сосредоточить на нем положительный интерес.

Но совсем иначе обстоит дело с Зикингеном. Исторический Зикинген не совпадает конечно целиком с Зикингеном моей трагедии, несколько, — но еще менее совпадает он с тем Зикингеном, какого ты себе представляешь. В этом ты можешь мне пока поверить на слово, так как я подробнее знаю его биографию. При случае я мог бы представить доказательства в пользу моего утверждения. Существует множество указаний на то, что Зикинген мог бы даже пойти вместе с крестьянами. Таковы: «Новый Карстганс», в котором Гуттен в диалоге с одним крестьянином называет его крестьянским вождем; опасение князей, что он поднимет «восстание с простолудином»; имя «Жишка», которым он любил сам себя называть, и т. д. При всем том я согласен, что можно сомневаться, пошел ли бы он действительно вместе с крестьянами, и во всяком случае, как далеко он пошел бы вместе с ними. Но когда ты говоришь, что за его словами коварно скрываются мечты «о старом кулачном праве», то ты ошибаешься. Эту стадию он давно перерос; об этом свидетельствуют самые несом-

ненные данные. С городами он пошел бы наверное, и он всячески добивался того, чтобы стать их вождем. Когда ты говоришь, что не будь он таким, каким ты его себе представляешь, он должен был бы апеллировать непосредственно к городам (и крестьянам), т. е. «к классам, развитие которых = отрицанию рыцарства», то я возражаю, что он и в самом деле беспрестанно апеллировал к городам, даже еще до восстания, и что усерднее всего он добивался именно союзов с городами в Страсбурге, Бамберге и т. д. В промежуток времени между трирским походом и осадой его замка он прямо засыпал города посланиями, созывал съезды городов или посылал к ним своих гонцов, обращался даже к своим старым врагам из Вормса и т. д. Города подвели его.

В речи, которую он произносит у меня в третьем акте перед жителями города Ландау, он в вопросе о городах вполне верен тому повороту, который позднее произошел в его политике.

Наконец 2) — и это главный пункт — если бы ты был даже вполне прав относительно исторического Зикингена, ты все же не прав по отношению к моему Зикингену. Разве поэт не в праве идеализировать своего героя, наделить его более совершенным сознанием? Разве Валленштейн Шиллера историчен? Разве Ахилл Гомера — действительный Ахилл? Энгельс прямо признает это. Он говорит: «Однако я отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян».

Раз уже я заговорил о праве поэта идеализировать свои исторические персонажи, то укажу тут же обе границы, в которых ему дозволено пользоваться этим правом: 1) он не смеет приписывать своему герою таких взглядов, которые выходят за горизонт всей той эпохи, в которой он жил. В противном случае он будет неисторичен и тенденциозен в худшем смысле этого слова. Но все то, что в эту эпоху так или иначе думали, говорили или представляли себе наиболее свободные и передовые умы, все это он может сконцентрировать, как в фокусе, в личности своего героя. И действительно я не вложил в уста Зикингена или Гуттена ни одного воззрения, ни одного слова, про которое нельзя было бы доказать, что так думали или говорили в ту эпоху. 2) Но и этому праву поэта концентрировать все духовные лучи эпохи в личности своего героя, как в фокусе, наделить его наивысшим сознанием, какое только было возможно в ту эпоху (хотя бы он в действительности и не обладал им), поставлена вышеуказанная граница: необходимо, чтобы герой не вступил в противоречие с этими воззрениями на каком-либо этапе своего фактического развития. Необходимо, другими словами, чтобы он шел в ногу с развитием событий или же чтобы он вовсе не пережил это развитие, чтобы он погиб в самом начале, когда ситуация еще была двусмысленна. При несоблюдении этой границы поэт пойдет прямо против истории, допустит неправду и уже не сможет дать ничего правдоподобного и захватывающего, им будут нарушены все законы эстетической иллюзии. Поясню мой взгляд на одном примере. Так как Лютер дождал до крестьянских войн и выступил против них, то было бы невозможно и бессмысленно отвести ему в трагедии противоположную роль, роль защитника крестьянского дела; но если бы Лютер умер, подобно Зикингену, до крестьянских войн и до споров с Мюнцером, то было бы пожалуй возможно — хотя я не хочу сказать здесь ничего определенного об этом конкретном случае и привожу его только как пример — изобразить его в какой-нибудь драме так, как будто он взял на себя защиту крестьянского дела. Ибо если многое в его точке зрения должно было поставить и действительно поставило его во враждебное отношение к крестьянству, то было в его точке зрения и много других моментов (как фактически на него сначала и возлагали

надежды в этом отношении). Значит здесь был налицо неразрешенный конфликт разноречивых моментов, а где положение таково, там свободна если и не историческая критика, то во всяком случае творческая фантазия. Это ты, по-моему, упускаешь из виду. Так например, в упомянутом случае Лютеру можно было бы отвести такую роль, как если бы он был способен к тому развитию, какое фактически породил из себя и переживал некоторое время протестантизм в лице английского индепендента.

Итак, ясно, что большинство твоих возражений касается лишь исторического, а не моего Зикингена. Мой Зикинген вовсе не мог бы пасть жертвой реакционных целей, потому что я и не наделил его ими, а только поставил его перед реакционной преградой, каковой является его не доходящая до революционного взрыва, определяемая его классовым положением натура.

Если признать мое право на это, которое я постарался обосновать в предыдущем и которое Энгельс признает и сам, то все остальное в драме развивается, как мне кажется, в высшей степени последовательно. Но есть еще один упрек, который мне здесь делает Энгельс. Он согласен, что я мог приписать Зикингену и Гуттену намерение освободить крестьян. «Но тогда,— говорит он,— тотчас же получается то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически-необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления». Короче говоря, он думает, что Зикинген должен был бы погибнуть у меня из-за нежелания его партии, дворянства, следовать за ним в его революционных планах, из-за возникшего отсюда разлада и т. д. Энгельс высказывает тут вполне верный взгляд, что я мог поднять личность Зикингена, но не его класс, над классовыми целями. Вызванный этим конфликт и должен был бы стать мотивом гибели моего героя. Но при всей пронизательности этого упрека он все-таки несостоятелен: 1) прежде всего замечу мимоходом, что я считаю даже невероятным, чтобы Зикинген, если бы он решился апеллировать к крестьянству, пал жертвой этого своего выступления. Если бы он только подчинил себе дворянство и крестьян, то с помощью последних он уже совладал бы и с первыми, тем более, что крестьяне являлись более сильным элементом. Для этого он был самый подходящий человек. Обречь его на такую гибель значило бы с моей стороны признать за дворянской партией силу и значение, которых она уже не имела. Кроме того, как бы ревностно и горячо ни было ему предано дворянство, без крестьян и городов он все равно должен был бы погибнуть. Истинную причину его гибели надо значит искать в чем-то другом, а не в сопротивлении дворянской партии. И наконец союз крестьян с дворянством тоже был вполне мыслим, о чем скажу ниже. Но 2) такого отказа со стороны дворянства следовать за ним в его планах освобождения крестьян и вызванных этим трений и ухода от него фактически вовсе не было. Все это вполне могло бы случиться, если бы Зикинген продолжал жить, заключил бы союз с крестьянами и т. д. Но на самом деле этого не было. А изменять в области истории такие реальные события я считаю прямо не позволительным. Зато внутренние цели, которые могли и не обнаружиться явно ни в каких фактах, я считаю вполне дозволенным — покада продолжается двусмысленная ситуация — вложить кому-нибудь в душу, так как в ней никто читать не может. Но сочинять такие реальные события, как раздоры, распри со своей партией, конфликты и споры с другими дворянами по поводу его тенденций в крестьянском вопросе — а такие осязательные факты при-

лось бы внести в историю от себя, потому что ничего подобного фактически не случилось, — это, по-моему, непозволительно.

3) Наконец, и это главное, выбранный мной конфликт несомненно гораздо глубже, трагичнее и революционнее, чем тот, который мне рекомендует Энгельс. Он глубже и трагичнее уже потому, что мой конфликт имманентен самому Зикингену, между тем как энгельсовский конфликт имел бы место лишь между ним и его партией. Куда девалась бы тогда собственная трагическая вина Зикингена? Он погиб бы, внутренне совершенно оправданный и безупречный, исключительно из-за эгоизма дворянского класса, — страшное, но в сущности совершенно не-трагическое зрелище.

Но именно потому, что вина Зикингена имманентна у меня ему самому, конфликт становится гораздо более революционным. Ведь нет никакой специфической или очень глубокой революционной «морали» в том, что можно погибнуть, когда идешь дальше своей партии и поэтому уже не имеешь ее за собой. У меня наоборот: Зикинген погибает оттого, что идет недостаточно далеко. И я нахожу в высшей степени революционную «мораль» в обнаружении того, что как бы революционер ни был кто-нибудь по своему содержанию, какими бы материальными средствами и т. д. он при этом ни располагал, он все-таки должен погибнуть, если вступит в какой бы то ни было компромисс с существующим, хотя бы даже то была сделка только в отношении чисто формальных моментов его действий, и хотя бы он именно благодаря этой сделке в области формы приобрел как угодно много благоприятных условий и реальных выгод. Энгельс, правда, говорит: «Опуская этот момент (его конфликт), вы сводите трагический конфликт к более мелким размерам, к тому, что Зикинген вместо прямой борьбы с императором и имперскими чинами выступил только против одного князя (хотя вы здесь и вводите с верным чутьем крестьян), и он гибнет у вас просто из-за равнодушия и трусости дворянства».

Мне и в голову не приходило заставить Зикингена погибнуть из-за равнодушия и трусости дворянства. Валтасар в пятом акте излагает перед Зикингеном совершенно иные причины его гибели и упоминает о нерешительной позиции дворянства только в таких выражениях: «пока, напуганное первой неудачей, дворянство робко отступает вспять» и т. д., — упоминает о ней только как об одной из наименее важных причин временного затруднения Зикингена. Ясно также, что даже преодолев его, Зикинген все-таки не мог бы победить без крестьян, почему Валтасар и указывает на них как на единственных победоносных носителей движения. Даже о городах он упоминает при этом только вскользь.

Критика Валтасара основывается не только на этом временном затруднении в Ландштуле. Ведь уже в третьем акте, а затем, возвращаясь к этому вопросу и развивая его подробнее в пятом, он порицает поход Зикингена на Трир, где дворянство было еще целиком и горячо предано ему. (Валтасар говорит в третьем акте: «Будь я с вами, я дал бы вам — ей-ей — другой совет, не столь же умный и все-таки, быть может, поумнее»; и в пятом акте он только разъясняет, в чем бы заключался этот совет.) Таким образом Валтасар объясняет катастрофу не трусостью дворянства, этой отрицательной причиной, проявившейся лишь в Ландштуле, а тем, что Зикинген не решился на положительное выступление совсем иного рода.

Точно так же и крестьяне выведены на сцену вовсе не между прочим, как это думает Энгельс, а объявлены Валтасаром главной осью всего, единственным «сим победиши», и, как я еще покажу ниже, все строится на них.

Когда Энгельс говорит, что Зикинген погибает у меня оттого, что он вступил в борьбу лишь с одним князем, а не сразу же с императором и имперскими чинами, то в такой форме это соображение совершенно парадоксально и даже непонятно. Ведь вообще говоря, легче справиться с одним князем, чем со всеми князьями и с императором в придачу. Необходимо поэтому выразить это в положительной форме и сказать: Зикинген погибает оттого — и на это и указывает ему Валтасар с беспощадной ясностью как на причину его гибели, — что он не ринулся со всего размаха в самое сердце революции, что он не апеллировал, сжигая за собой все корабли и мосты, к низшему и самому крайнему революционному слою и не развязал таким образом все революционные силы народа, что он не доверился в безумном идеалистическом порыве, пренебрегая всеми реалистическими сомнениями и умствованиями, одному лишь могучему напору революционной идеи и ее наивысшему напряжению.

Но в таком случае апатия дворянства и не является уже причиной его гибели. Выраженный в такой форме конфликт не сводится уже к «более мелким размерам», но вырастает в глубочайшую и вечную коллизию революционной идеи с самой собой и в то же время влагается в самого Зикингена как еще действующий в нем и поэтому обуславливающий его вину момент.

Но Энгельс не написал бы конечно этих фраз, если бы прочел мое первое письмо и усмотрел бы из него всю трагическую идею моей драмы. Ибо эта идея, как она изложена у меня в письме, действительно проведена и в самой пьесе, этого, я думаю, он точно так же не станет оспаривать, как не оспариваешь ты, да это впрочем доказывает весь пятый акт.

Перехожу наконец к последним, но вместе с тем наиболее важным для меня возражениям, потому что ими затрагивается интерес партии, который я считаю весьма правомерным. Вы оба сходитесь на том упреке, что я «слишком отодвинул на задний план» крестьянское движение, что я «недостаточно выдвинул его вперед». Ты обосновываешь это так: Зикинген и Гуттен должны были бы погибнуть у меня оттого, что они, подобно например польскому дворянству, были революционны лишь в своем отношении (поскольку это верно, это, как я только что показал, высказано в моей драме), на самом же деле защищали реакционные интересы (но в моей драме они их не защищают, а потому и не могут погибнуть из-за них). «Дворянские представители революции, — говоришь ты, — за чьими дозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой императорской власти (recte! но это относится также, и в такой же мере, к крестьянам) и кулачном праве (это неверно даже по отношению к историческому Зикингену в его второй период) не должны были значит (это «значит» показывает, что эти слова являются лишь выводом из предыдущего и падают вместе с ним) так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя: представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были составить гораздо более существенный активный фон. Тогда ты мог бы, и в гораздо большей мере, выразить как раз наисовременнейшие идеи в их наиболее наивной форме(?!), теперь же главной идеей фактически остается у тебя наряду с религиозной свободой гражданское единство». «Не впал ли ты до известной степени сам, — восклицаешь ты, — как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?»

О, в высшей степени несправедливый друг! Прежде всего ответу мимоходом на упрек в том, что я инсценировал апофеоз лютеровско-рыцарской оппозиции! Каким это образом? Я думаю наоборот, что в моей драме

протестантизму приходится гораздо хуже, чем католицизму. Во втором акте папский легат сводит протестантизм, этот еще недозревший плод, к свободно-человеческому атеистическому гуманизму как к его истинной основе и конечной цели его развития, как к его действительному духовному корню. Гуттен делает то же самое в третьем акте, описывая свою жизнь и борьбу с Рейхлином. Так обстоит дело с духовной стороной протестантизма и с его критикой у меня. В политическом же отношении уже во втором акте, в диалоге с императором и еще более решительно в третьем акте, в своем диалоге с Гуттенем, когда последний требует, чтобы он поднял меч в защиту религиозной свободы, Зикинген доказывает, что протестантизм может только разрушить всякое национальное и политическое бытие, если он не будет взят в руки самим императором и превращен в великую национальную и государственную идею. Он показывает, предрекая заранее ход развития, наступивший в Германии после Вестфальского мира и благодаря ему, что протестантизм неизбежно приведет нацию к окончательной политической смерти и гибели, что он является могильщиком нашей истории. (В этой мнимо протестантской пьесе нет ни одной протестантской фигуры, кроме осмеянного Эколампадиуса. Гуттен изображен в чисто гуманистических, Зикинген в чисто политических тонах.) Так обстоит дело с прославлением лютеровской оппозиции. Что же касается рыцарской оппозиции, то ведь для Зикингена она вообще не существенная цель, а (что вы оба проглядели) лишь средство, которое он хочет употребить, лишь движение, которое он хочет искроме цельного и обязательного, проведенного императором чтобы затем, выполняя роль, от которой отказывается Карл, преобразовать и осуществить протестантизм как государственную и национальную идею. От всякого другого осуществления этой идеи, кроме цельного и обязательного, проведенного императором для всей Германии, от всякого частичного ее осуществления Зикинген ожидает, как он это подробно высказывает Карлу и Гуттену, гибели и упадка, и значит к частичной рыцарско-лютеровской оппозиции это относится в такой же мере, как к княжеско-лютеровской. До какой степени Зикинген не вовлечен у меня сам в дворянское движение, до какой степени он только использует его, чтобы сделаться императором с помощью дворян и без их ведома и осуществить затем свои великие государственные планы,— об этом ведь свидетельствует каждое слово моей драмы. Никто из дворян не знает о его стремлениях к императорской короне, только Гуттену он говорит о них. Он созывает дворянство в Ландау в тот момент, когда собирается идти на Трир для осуществления своих целей. Даже в Ландау дворяне не узнают, за исключением всего нескольких доверенных лиц, что он собирается идти в Трир. Он возбуждает их в Ландау своими речами, заставляет их заключить союз, который по его расчету должен доставить ему Трир и императорскую корону, и эти господа кричат «да», ничего не зная ни о той, ни о другой его цели. Я умышленно не дал им слова и ни разу не вывел их на сцену до того, как Франц созвал их в Ландау. Я хотел изобразить их в виде партии, которую один Франц привел в движение, которой он механически управлял, дергая ее, как марионетку, взад и вперед, которая была им использована, ничего не зная о его тайных целях. До какой степени он властвует над ними, как мало их ценит и с каким превосходством командует ими, видно в четвертом акте, в момент прибытия герольда, и потом яснее всего после штурма, когда постепенно приходят известия о неудачах. Тогда они покидают его, но не вследствие сознания различия их

внутренних целей, а из простой апатии, трусости, нерешительности; и как единственный элемент, достаточно способный и сильный, чтобы быть носителем и проводником стремления Зикингена к императорской короне, изображается исключительно лишь крестьянство — в речах Валтасара, в крестьянской сцене, в согласии Гуттена с крестьянами, в упреках, которые Франц делает самому себе в монологах и сценах пятого акта, наконец в последней сцене между ним и Гуттенем... И то, что Зикинген не обратился с призывом к этому единственно сильному и имеющему будущее элементу, объявляется справедливой причиной его падения.

Так обстоит дело с «прославлением» «рыцарской» и «лотеровско-рыцарской» оппозиции!!!

И ты утверждаешь, что я сам до некоторой степени впал в дипломатическую ошибку Зикингена, поставивши лотеровско-рыцарскую оппозицию над плебейско-мюнцеровской?

Обожди, мой друг. Я построю свои основания в полном порядке:

1) Строго говоря, ваши замечания в этом отношении сводятся ни к чему иному, как к отведенному уже Платоном и Аристотелем упреку по адресу какой-либо трагедии, что не те или иные отдельные черты в ней плохи или ошибочны, но что это вообще не другая трагедия. Ваши упреки сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал «Франца фон Зикингена», а не «Томаса Мюнцера» или какую-нибудь другую трагедию из эпохи крестьянских войн. Но я отнюдь не думаю ограничиться одним только этим ответом.

2) Если бы я написал «Томаса Мюнцера» или какую-нибудь другую крестьянскую трагедию, то даже в том случае, если бы это не было связано со всеми теми затруднениями, к которым я еще вернусь, я все-таки написал бы только трагедию определенной, исторической, законченной и миновавшей для нас революции.

Не мог же я вложить в «Томаса Мюнцера» основную трагическую идею моей драмы, этот почти при каждой революции повторяющийся вечный конфликт. Каковы бы ни были причины гибели Мюнцера, он ведь во всяком случае погиб не оттого, что вел реалистическую дипломатию, а не апеллировал с непримиримым фанатизмом и с закрытыми глазами к самой крайней революционной позиции и к ее силе. Такого упрека Мюнцеру уж никак не сделаешь.

Я написал всю трагедию, как я уже сообщал тебе в моем письме, только для того, чтобы изобразить эту трагически-революционную основную идею. Следовательно я не мог выбрать Мюнцера. Ты сам говоришь, что «вполне одобряешь» эту трагическую идею, что она и есть та коллизия, от которой погибла также революция 1848 и 1849 гг. Не станешь ты отрицать и того, что для будущей революции та же самая коллизия снова явится опаснейшим подводным камнем, хотя и будем надеяться, что нам тогда удастся благополучно обойти его. Вот это то вечно-современное в этом революционном конфликте и побудило меня написать мою драму. Не какую-нибудь определенную минувшую революцию, как таковую, хотел я изобразить, но глубочайший и вечно вновь повторяющийся конфликт революционного действия и его необходимость. Словом, я претендую на то, что написал трагедию формально-революционной идеи *par excellence!* И это ты называешь дипломатией? Дипломатия в том, что я как раз показал бессилие даже самой незаметной сделки, относящейся, казалось бы, вовсе даже не к цели, не к существу, а только к выполнению, к форме?

3) Наконец и крестьянские войны не таковы по своей природе, какими вы их повидимому считаете. Они наоборот а) не-революционны;

б) и в конечном счете даже в высшей мере реакционны; ничуть не менее реакционны, чем исторический (не мой) Зикинген и историческая дворянская партия.

а) Не-революционны. Ведь крестьяне требовали от дворян лишь уничтожения злоупотреблений, а не уничтожения самих порядков. Чем тщательнее изучаешь крестьянские войны, тем яснее видишь это; и это не удивительно. Идея прав субъекта, как такового, выходит за пределы всей той эпохи, внести ее туда — значило бы поступить неисторично в худшем смысле этого слова. Но на основе движения, поднявшегося только для устранения злоупотреблений, а не на почве свободного правового принципа, можно было бы написать трагедию человечности, но не трагедию сознательного принципа. Указанный характер крестьянского движения проходит через все это движение и видоизменяется у Т. Мюцера, проповедников и т. д. — словом, там, где присоединяется элемент религиозного фантазерства. Но работать над материалом религиозного фантазерства и относиться к нему положительно я не в силах совершенно. Тут уже мне милей любовью, даже менее радикальный по своим лозунгам свободно человеческий пафос. Идеалистическое образование, которое я мог приписать Гуттену и Зикингену, сделав из него все выводы, казалось мне гораздо более удобным и по крайней мере не обоюдоострым материалом. Ибо единственное условие, при котором можно было бы согласиться написать драму «Мюццер», — намерение показать, что движение Мюцера гибнет как раз из-за своего религиозного характера, — это условие невыполнимо ни по существу, ни исторически.

б) И наконец меня удивляет, как могли вы не заметить, что крестьянская агитация в последнем счете была насквозь реакционна, столь же реакционна, как и историческая дворянская партия. Дело в следующем: крестьяне хотели исключить из имперского сейма всех князей лишь как промежуточную власть. Они хотели, чтобы в нем было представлено только дворянское землевладение наравне с крестьянским (князья должны быть представлены не как таковые, а лишь поскольку они являются вместе с тем дворянами-землеладельцами). Другими словами: определяющим политическим моментом является для них еще не субъект — это выходило за пределы той эпохи, — а частное землевладение. Оно одно считается правоспособным. На основе свободного личного землевладения предполагалось создать государство землевладельцев с императором во главе. Это была следовательно все та же старая, отжившая идея германской империи, которая и потерпела крушение. Именно благодаря этой архиреакционной идее крестьян их союз с дворянством был бы еще вполне возможен. В своей политической позиции дворянство не только ничего не теряло от крестьянских планов, но даже выигрывало. А то, что оно теряло в своих доходах с крестьян от ограничения злоупотреблений, компенсировалось уничтожением ленных прав князей по отношению к дворянам. Отсюда тот факт, что многие дворяне и графы — и не все предательски или во всяком случае не сразу же предательски и вынужденно — сближались с крестьянским движением.

Эта-то архиреакционная идея служит в равной мере фундаментом для исторического Зикингена, для исторической дворянской партии и для крестьянского движения и общей исторически-оправданной и необходимой причиной гибели всех трех. Ибо в противоположность этой идее, которая основывает общественное право на частной земельной собственности и в ней одной усматривает источник всякой политической правоспособности,

князя с их господством над не составлявшей их частную собственность и не полученной ими в лен землей были представителями впервые зарождавшегося политического, независимого от частного землевладения государственного принципа.

Отсюда победа князей как над дворянством, так и над крестьянами, а в этом же причина того, что города не должны были погибнуть.

Итак, с точки зрения неумолимой исторической критики, крестьянские движения того времени столь же реакционны, как и дворянская партия. Это одна и та же идея. Если бы я писал критико-исторический трактат, я показал бы, что именно в этом причина гибели и дворянства, и крестьян. Но в художественном произведении, не говоря уже о трудности изложения таких мыслей в эстетической форме, это не могло бы возбудить особенного интереса к крестьянскому делу, а только весьма ослабило бы обычный интерес к нему. Таким образом крестьянские войны и т. д., использовать ли их в вашем или в моем смысле, должны оставаться в некотором полумраке, к ним нельзя подходить слишком близко. И я боюсь, что еще одно обстоятельство должно сделать драму на сюжет крестьянских войн почти отталкивающим зрелищем. Я не говорю уже о той большой трудности, что здесь нет объединяющей индивидуальности. С этим еще можно было бы справиться. Но дело в том, что внешней причиной неудачи крестьянских войн было полнейшее равнодушие, с каким каждая кучка крестьян относилась к другой, их эгоизм, обособленность, беспримерная ограниченность.

Сущность немецкого мещанства можно изучать на крестьянских войнах в большом масштабе. Каждая кучка крестьян думает только о себе, и как только она сожжет замки в своем округе, ей уже абсолютно безразлично, что творится с крестьянами соседнего округа. Особенно величественным изображением этого самого скверного и узколобого эгоизма, этого полнейшего отсутствия всякого общественного чувства уж никак не могло бы стать!

Что же я сделал для изображения крестьянского движения при таком его не-революционном и даже прямо пассивно-реакционном характере и заслужил ли я упрек в том, что не обратил на него достаточно внимания?

Чтобы хотя бы только ввести это движение в мою пьесу, я смело допускал всяческие анахронизмы. У меня крестьяне восстают или готовы к восстанию на 1½ года раньше, чем это было фактически, я воскресил Йосса Фритца, который умер или исчез за 8 лет до того, у меня Гуттен, вовсе не вернувшийся из Цюриха, приезжает в Германию, чтобы принять их предложение; крестьяне берут на себя в моей трагедии инициативу и предлагают Зикингену союз и восстание,— всего этого не было в действительности. Уже на одном этом основании я как будто мог считать, что сделал почти невозможное.

Но не то еще получится, если я спрошу, какую роль отвел я крестьянству по отношению к целому? С самого же начала все в драме рассчитано на крестьян. С самого начала слышны намеки на них сперва нарочно в очень слабых, потом постепенно во все более усиливающихся тонах, пока наконец могучие аккорды и оглушительный барабанный бой не возвещают о них, как о мессии, от которого одного только можно было ждать спасения и которого следовало призвать на помощь.

Первое упоминание о них происходит во втором акте в диалоге с Карлом, который показывает Францу объявление о крестьянском восстании и восклицает:

Как? Неужель мои дворяне могут
Забиться до того, чтоб с мужиком
Восстать против законного порядка, и т. д.

Так как ответ Франца перебивается императором, то зритель все еще остается пока в полном неведении. Далее, в третьем акте, Гуттен обращает внимание зрителя на крестьян и на свое отношение к ним:

На твой призыв крестьянская дружина
Вооружится в миг для новых битв.
Везде кругом насилие и гнет.
Воспламеняют ненависть к дворянству,
Лишь ты один, и т. д.

Затем в Ландау Зикинген в своей речи все больше и больше обращает внимание дворянства на крестьян. Он говорит дворянству, что крестьянин ненавидит князей, а не их, не дворян (почему, я только что выяснил), упоминает о том, что крестьянин уже восстал однажды во время мятежа «бедного Конрада» против того же самого князя, против которого вслед затем должно было выступить и дворянство, и что уже в этом сказывается общность их судьбы. Более того: он открыто указывает на крестьянство как на ту силу, которая в свое время будет развязана и решит судьбу страны:

Когда по всей стране
Промчится фурия войны кровавой
И все расколет на два вражьих стана,
Тогда крестьянин мощною рукой,
Развязанной в последнюю минуту,
Решит исход чудовищной игры,
Решит судьбу Германии. Об этом
Подумайте!..

В четвертом акте — в Трире — появляется городской элемент. В пятом акте наконец раздаются мощные аккорды Валтасара, который со всей силой ударяет по этой струне:

Страдает население, и т. д.
.....
В крестьянстве бродит, и т. д.
.....
На ваш призыв к крестьянам сотни тысяч
Поднимутся с оружием в руках.
Лишь вымолвите слово, и страна
Вам станет войском, вы стране — вождем!

И не успел Валтасар убедить его, как в следующей сцене перед зрителем восстает в живом и развернутом виде то, о чем прежде только возвещалось. Это только одна сцена, но в эту сцену я вложил всю силу пластики, какая только у меня есть, при чем охотно признаю, что у меня ее не так уж много. И может быть потому, что эта сцена единственная, она должна тем сильнее выделяться и производить тем большее впечатление. Если до сих пор о крестьянстве говорилось лишь как об элементе, который еще только должны поднять официальные вожди движения, как о подходящем материале, оживить который может лишь инициатива этих вождей, — то теперь эта иллюзия сразу исчезает. Крестьяне выступают как внутренне-организованная и готовая к бою сила, твердо сплоченная и способная ударить на врага. Теперь оказывается, что тогда как везде были только планы, колебания и половинчатость, здесь и только здесь была действительность и сила. Предоставленное исключительно самому себе, совершенно оторванное от всех официальных элементов движения, действуя исключительно от себя и в себе, крестьянское движение стоит во

всеоружии, в любой момент готовое к удару. Набросанная Йоссом Фритцем картина крестьянской войны с изображением ее могущественных ресурсов должна произвести огромное впечатление уверенной в себе силы, как в ней и действительно предвосхищена и заранее показана одна из самых великих сторон крестьянской войны. Не от Франца исходит призыв к крестьянам, а от крестьян — призыв к нему, от них исходит инициатива движения. И тотчас же все меняется. Гуттен увлечен, дает согласие на все и не только принимает предложение — что в данный момент психологически весьма понятно, ибо, как бы он ни отнесся к предложению крестьян в другое время, в том отчаянном положении, в котором Франц оказался теперь, ни Гуттен, ни Франц не могли от него отказаться, — но мало того: Гуттен даже становится из вождя ведомым, духовное руководство переходит от него к Йосу Фритцу. Словом, эта сцена должна произвести самое сильное и благоприятное для крестьян впечатление, и отчасти именно потому, что она появляется сразу, без всякой подготовки, что мы внезапно видим здесь совершившимся то, возникновение чего было от нас сокрыто. Предсказания Валтасара не только осуществляются в этой сцене, но оказываются превзойденными действительностью в тысячу раз. Далее идут те сцены, в которых Франц, все настойчивей и все глубже упрекающий себя в том, что он не сразу же апеллировал к революции, как таковой, к крестьянину, решает на отчаянный искупительный подвиг. Его слова: «иду, Германия» исчерпывающе разъясняются в сцене с Валтасаром и в сцене между крестьянами и Гуттеном в том смысле, что эта Германия есть не какая-нибудь другая, а именно крестьянская Германия. Он хочет пробиться вперед, хочет броситься без оглядки в объятия крестьянства, делать с ним общее дело и получить от него ту силу, которую он искал повсюду, только не у крестьян, и повсюду, несмотря на всю вероятность успеха, совершенно тщетно. Но его попытка срывается, и еще раз в разговоре Гуттена с Францем крестьянское восстание изображается как осуществление и завершение всего, как такой момент, который ставит вверх ногами все положение; в кратких чертах изображаются его огромное могущество, сила его размаха, безусловная достоверность победы в союзе с ним:

Пора! За меч хватается крестьянин,
 Зовет тебя в вожди. Я здесь стою
 Его посланником. Скажи лишь слово,
 И сотни тысяч встанут как один, и т. д.

Это национальное движение описывается как «великий поток», в котором княжеские войска захлебываются подобно «нескольким утопающим в открытом море». Но уже слишком поздно. Франц умирает. Гуттен убит горем. Но он еще раз показывает в перспективе судьбу крестьянской войны. Дворянство и города трусливо и малодушно отступают:

Один крестьянин верен славной цели;
 За меч берется он — но без друзей
 Ему не сдобровать, в кровавой бойне
 Он будет уничтожен и покроет
 Родную землю грудой страшных трупов.

И в черном мраке наступившей ночи
 Затмится будущность родной страны.

Таким образом все симпатии сосредоточиваются в конце концов на крестьянском восстании, и его неудача изображается как несчастье Германии и как несчастье, в котором сами крестьяне не повинны, как

следствие их изолированности, вызванной тем, что только они одни были способны действовать. Франц и Гуттен погибают оттого, что они не апеллировали во-время к крестьянскому восстанию как к единственному законному и победоносному носителю революции, и вся пьеса, все время возвещающая о нем как об осуществителе и завершителе данной ситуации и революционного переворота, относится к нему примерно так, как Иоанн к Христу! Но это такой Христос, которого нельзя рассматривать вблизи или разве только в колыбели, если желаешь сохранить о нем эстетическую иллюзию, как это и было возможно именно при моем способе изображения, при котором все сочувствие, вся правда, вся любовь сосредоточиваются на крестьянском восстании.

Поэтому, мой дорогой друг, я считаю в высшей степени несправедливым ваше замечание, будто я отвел слишком мало места крестьянскому восстанию и из «дипломатических» соображений поставил рыцарско-лютеровскую оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской»; это было у тебя, надеюсь, лишь мимолетным впечатлением. Хотя я отлично знаю, что вы люди, критику которых нельзя объяснять лишь впечатлениями, вынесенными из моей пьесы, но я все же не считаю вполне исключенным, что как раз моя трагедия, сосредоточивая все значение и все сочувствие на мессии крестьянского восстания, этим-то своим отношением к нему и вызвала в вас такое чувство, будто для его прославления сделано все-таки слишком мало. (Все другие «Францы фон Зикингены», появившиеся до сих пор, не упоминают даже вскользь ни единым словом о крестьянском восстании.) И поэтому если бы хоть тысячную долю вашего возражения можно было приписать благоприятному для крестьян впечатлению от моей драмы, то я мог бы поздравить себя и счел бы свою цель достигнутой.

Итак, более благоприятной и действенной роли, чем какую я отвел крестьянскому восстанию в моей драме в целом, я не мог ему отвести. Если вы думаете, что из этой стихии можно было бы почерпнуть еще много благодарных сцен для драматического оживления трагедии, то это другое дело, и тут я вполне согласен с вами. Но от этого идейное положение крестьянства в составе целого нисколько бы не изменилось. С другой стороны, драма уже и так чрезмерно длинна. Какие-то границы надо было ей поставить. Я собирался написать пролог, в котором должны были выступать ландскнехты, крестьяне, нищие, начальники отрядов. Но так как трагедия и без того уже несуразно длинна, то я отказался от этого. Иначе мне пришлось бы выпустить некоторые уже написанные сцены, а я не мог найти ни одной лишней. К тому же, прибавивши такой пролог, я ослабил бы пожалуй впечатление, производимое крестьянской сценой в пятом акте. Всякая предыдущая крестьянская сцена служила бы для нее посредствующим звеном, а между тем именно в ее непосредственной близости и заключается, как мне кажется, один из главных моментов производимого ею трагического впечатления.

Но довольно об этом! Простите мне мое многословие. Ни разу еще я не написал письма, столь же скучного, растянутого, лишнего всякого стиля и всякой четкости. Это произошло оттого, что меня все время прерывали на каждой фразе, и моя голова занята другим. Но все-таки главное сказано, и мысль, хоть и растянуто, но выражена.

Впрочем вы не будете удивляться этому длинному посланию. Ведь вы единственные люди, похвалы и порицания которых серьезно меня затрагивают. Если вы напишете мне, что я убедил вас в том или ином пункте, это будет для меня истинной радостью. Но я отнюдь не требую ответа, потому что не хочу мучить вас своей драмой больше, чем это необходимо, и думаю, что с вас достаточно и того, что придется прочесть это послание.

Теперь о другом. Вы вероятно получили мою брошюру «Итальянская война и задача Пруссии, голос демократа». Не знаю, читаете ли вы там у себя немецкие газеты в достаточном количестве, чтобы быть хоть приблизительно в курсе здешних настроений. Абсолютное французозо-

Handwritten text in German, including a main body of text and a vertical marginal note on the left side.

Marginal note (left):
 Sehr dankbar für die Brochure, die ich heute erhalten habe. Sie ist sehr interessant und enthält viele wichtige Punkte. Ich werde sie sofort lesen. Mit freundlichen Grüßen, L.

Main text (top):
 Lieber Herr, die Brochure, die Sie mir geschickt haben, ist mir sehr willkommen. Ich habe sie heute gelesen und finde sie sehr interessant. Besonders die Darstellung der italienischen Situation und die Forderungen an die deutsche Politik sind mir sehr wertvoll. Ich werde Sie darüber in Kürze berichten.

Main text (middle):
 Ich finde es sehr schön, dass Sie sich für diese Fragen interessieren. Die deutsche Politik hat in der Tat eine schwierige Lage. Die Forderungen der Demokratie sind nicht zu vernachlässigen. Ich hoffe, dass Sie diese Punkte auch in Ihren Kreisen weiterverbreiten können.

Main text (bottom):
 Mit freundlichen Grüßen,
 L.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛАССАЛЯ К МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ ОТ 27 МАЯ 1859 г. (ОТВЕТ НА ИХ КРИТИКУ «ЗИКИНГЕНА»)

С фотоконии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

едство, французофобство (Наполеон только предлог, подлинная же тайная причина в революционном развитии Франции) — вот тот рог, в который трубят все здешние газеты, и та страсть, которую они стараются, к сожалению довольно успешно, разжечь в сердце

нижших классов народа и демократических кругов, играя на национальной струнке. Насколько полезна была бы для нашего революционного развития начатая правительством п р о т и в воли народа война с Францией, насколько же вредно должна была бы отразиться на нашем демократическом развитии война, п о п у л я р н а я среди ослепленного н а р о д а. К изложенным мною в шестой главе моей брошюры соображениям на этот счет присоединяется еще то, что трещина, отделяющая нас от наших правительств, уже сейчас совершенно зарастает. Против угрозы такого бедствия я счел нужным выступить со всей энергией. Я написал свою брошюру в тоне партийного манифеста и жажду услышать, согласна ли с ней партия. Напишите же мне ваше мнение. Разумеется я ни на одну секунду не поддаюсь иллюзии, будто правительство может пойти и пойдет по пути, указанному в гл. VII. Наоборот! Мой собственный взгляд выражен достаточно ясно в следующей фразе: «тогда было бы лишь еще раз доказано, что монархия в Германии уже не способна более на национальное дело». Но именно поэтому-то я испытывал особенную потребность сделать это п р е д л о ж е н и е, ибо оно тотчас же превращается в упрек. Оно может подействовать подобно ледолому, о который начнут разбиваться волны этой фальшивой популярности.

Просьбу Энгельса по поводу его брошюры я смогу исполнить только завтра, потому что только завтра вернется из Лейпцига его издатель. Относительно политических тезисов его письма я замечу: я вполне согласен с ним, что прусскую Польшу следует считать германизованной и стало быть удерживать за собой. Но если его фраза о Венгрии, допускающая двойное толкование, означает, что Венгрия должна остаться под немецким владычеством, то с этим я не согласен. Я это не считаю ни возможным, ни необходимым, ни полезным. Но весьма важно и очень хорошо, что в виду ее положения перед лицом варварского славянства ей приходится рассчитывать на нас и на нашу помощь.

Ты, Маркс, еще не ответил мне на мое последнее письмо. В скором времени выйдет твоя книга, которую я жду со жгучим нетерпением.

Прощайте. Salut!

В а ш Л а с с а л ь.

Еще одно замечание: я выпустил брошюру анонимно, чтобы не отпугнуть сразу же средние круги и дать им отнестись к ней по возможности непредвзято. Но если потребуются второе издание, то она выйдет уже под моим именем.

P. S. Через три дня выйдет твоя книга, дорогой Маркс; ты поставил меня в очень неудобное положение, написав книгоиздателю о систематической проволочке, тогда как промедление, которого конечно нельзя отрицать, вызвано отчасти ограниченностью его технических средств, отчасти же его природной медлительностью, но намерения его — самые лучшие. Ведь ты можешь мне поверить, что я не отдал бы твое сочинение издателю, который «преднамеренно» замедляет печатание. Этот человек, взявшийся за издание по своей доброй воле, был столь же удивлен, как и оскорблен, когда узнал о подобных нареканиях с твоей стороны.

Да не будет для вас слишком тяжела жестокая необходимость прочесть все это! Мазня моя так распозлалась оттого, что у меня не было времени сначала подумать, а потом уж написать. Но прошу вас прочесть все: это для меня очень важно.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС В ПОЛЕМИКЕ С ЛАССАЛЕМ ПО ПОВОДУ
«ЗИКИНГЕНА»

I

С опубликованием неизданных писем и сочинений Лассаля появился новый материал, очень важный для правильной оценки отношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем; в третьем томе этого издания¹ напечатаны письма Маркса и Энгельса к Лассалю, между тем как Меринг мог опубликовать (в четвертом томе изданного им «Nachlass») почти одни только письма Лассаля. Дальнейшим расширением материала мы обязаны главным образом тому, что относящиеся к Лассалю места, опущенные Бернштейном, опубликованы теперь в новом издании переписки Маркса и Энгельса (Gesamtausgabe, III Abteilung; русское издание переписки, тт. XXI—XXIV). Попытка общего разбора опубликованных Майером материалов была сделана в свое время автором этих строк (после появления четвертого тома шеститомного издания) в «Grünbergs Archiv» (11-й год издания). Если теперь мы позволим себе остановиться на специальной теме, и притом носящей, казалось бы, чисто эпизодический характер, то лишь вследствие убеждения, что некоторые принципиальные разногласия между Марксом-Энгельсом и Лассалем нашли здесь еще более четкое выражение, чем в других дискуссиях между ними, а, с другой стороны, потому, что эта дискуссия дала повод Марксу и Энгельсу высказаться об искусстве, в отношении которого их взгляды изучены и оценены еще далеко не полно.

Внимательный подход Маркса к проблемам эстетики и искусства общеизвестен. Как бы ни решила филологическая критика вопрос о его участии в работе над второй частью «Rosaune»², письма Маркса, относящиеся к этому периоду, свидетельствуют об очень глубоком интересе к эстетическим проблемам. Но несомненно, что Маркс продолжал интересоваться ими и позднее. То например, как он через несколько лет после дискуссии о «Зикингене» подходит к французским драматургам эпохи Людовика XIV в своих письмах, посвященных критике лассалевской «Системы приобретенных прав»³, показывает, что он навсегда сохранил глубокий теоретический и исторический интерес к вопросам литературы и искусства. Это особенно ясно по отношению к занимающему нас периоду. Переписка по поводу «Зикингена» относится ко времени от марта до мая 1859 г.⁴ Это время непосредственно следует за окончанием «К критике политической экономии»; фрагментарное введение к этой книге, опубликованное позже, содержит в себе одно из наиболее подробных изложений эстетических взглядов Маркса позднейшего периода. Укажем далее, что имеются очень подробные выдержки Маркса из «Эстетики» Ф. Т. Фишера от 1857—1858 гг., тоже свидетельствующие об усердных занятиях эстетическими вопросами как раз в это время⁵.

Поэтому, с каким бы раздражением ни писал Маркс Энгельсу в последнем из вышеупомянутых писем по поводу второго лассалевского письма о «Зикингене» («непонятно, как в такое время года и при таких мировых событиях человек не только сам находит время писать нечто подобное, но еще думает, что и у нас найдется время прочесть все это») это замечание, как выяснится из дальнейшего, относится отнюдь

¹ Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe u. Schriften. Hrsgb. von G. Mayer. Stuttgart u. Berlin, 1921.

² Название брошюры, вышедшей в 1841 г. из круга левых гегельянцев (группы Бруно Бауэра. По предположению Густава Майера, вторая часть этой брошюры («Учение Гегеля о религии и искусстве с точки зрения верующего», Лейпциг, 1842) написана Марксом. Майеру возражал Нетлау.

³ Там же, Bd. III, S. 375, письмо от 22 июля 1861 г.

⁴ Письмо Лассаля Марксу датировано 6 марта, ответ Маркса — 19 апреля, ответ Энгельса — 18 мая, наконец возражение Лассаля — 27 мая. Это последнее письмо Лассаля Маркс имеет в виду в письме Энгельсу от 10 июня.

⁵ Отметим еще мимоходом, что в 1857 г. Маркс получил от Дана заказ написать для «New-American Encyclopaedia» статью об эстетике. В письмах от 23 и 28 мая 1857 г. Маркс и Энгельс смеются над наивностью Дана, воображающего, что можно изложить такую тему на одной странице (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 205—206). Появившаяся впоследствии в этом словаре статья об эстетике конечно не принадлежит ни Марксу, ни Энгельсу.

не к занятиям Лассалю эстетическими вопросами. Оно объясняется вероятно тем, что Маркс считал всякий дальнейший спор с Лассалем совершенно бесплодным и бесцельным, ибо во всех важных политических и исторических вопросах, так же как и в вопросах мирозерцания, обсуждавшихся в этом споре, Лассаль не поддавался никаким аргументам. В течение спора весьма опасные следствия из его позиции обнаружались даже еще более ясно, чем прежде. Правда, это произошло отнюдь не впервые. Но разница в тоне между довольно сердечными — несмотря на весьма резкую критику — первыми ответными письмами Маркса и Энгельса по поводу «Зиккингена» (написанными гораздо менее «дипломатично», чем предыдущее письмо Маркса — от 31 мая 1858 г. — о «Гераклите») и между только что приведенным замечанием настолько велика, что стоит остановиться на вопросе об ее причине и о роли всей дискуссии в истории отношений между Марксом и Лассалем.

Все изложенное вполне оправдывает, думается нам, наше намерение заняться несколько подробнее данными письмами, при чем в центре нашего внимания должна быть разумеется связь эстетической стороны спора с разногласиями в области политики и общего мировоззрения. Систематическое исследование эстетических взглядов зрелого Маркса выходит за пределы нашей темы не потому, что они не имеют значения, а наоборот потому, что вопрос этот еще слишком мало изучен. До сих пор у нас нет еще даже систематической сводки всех высказываний Маркса и Энгельса на эту тему; не исследована внутренняя связь этих высказываний и их место в мировоззрении Маркса. Мы не можем предвосхищать этих необходимых исследований, которые должны быть произведены на основе опубликованных и неопубликованных материалов, и в дальнейшем будем привлекать общеэстетические воззрения Маркса и Энгельса лишь в той мере, в какой это безусловно необходимо для нашей более узкой темы.

6 марта 1859 г. Лассаль послал Марксу и Энгельсу своего «Зиккингена» с предисловием и рукописью о трагической идее в этом произведении. Оба документа содержали в себе программное изложение взглядов Лассалю. Первый документ, предназначенное для печати предисловие, выдвигает на первый план эстетическую проблему и рассматривает лежащий в основе драмы историко-политический вопрос только как материал. Второй документ — рукопись, предназначавшаяся Лассалем для более близких друзей, — уже не ограничивается осторожными, дипломатическими формулировками политико-исторических проблем, а энергично выдвигает их в центр внимания и обсуждает эстетические вопросы (о трагическом, о форме драмы) лишь в связи с этими проблемами.

«Зиккинген» Лассалю должен был быть, согласно мысли автора, трагедией революции, состоит в противоречии между «воодушевлением», «непосредственным доверием идеи к своей собственной мощи и бесконечности», с одной стороны, и необходимостью «реальной политики» — с другой. Лассаль умышленно формулирует этот вопрос сразу же в возможно более абстрактном виде, но тем самым он сразу же дает ему — без умысла — и своеобразную постановку по существу. В самом деле, задача «реальной политики» — «считаться с данными конечными средствами» — приобретает у него следующее содержание: «скрывать... от других подлинные и последние цели движения и посредством этого умышленного обмана господствующих классов (разрядка наша. — Г. Л.), более того — посредством их использования приобрести возможность организовать новые силы»¹. Соответственно этому и противоположный полюс — революционное воодушевление — неизбежно получает столь же абстрактную и столь же своеобразную формулировку, будучи противопоставлено расчетливости ума. О «расчетливости» разбились большинство революций, а разгадка силы «крайних партий» заключается именно в том, что они «отбрасывают в сторону рассудок». Положение таково, «словно есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным умом с его расчетливостью»².

¹ Nachgelassene Briefe u. Schriften, Bd. III, S. 153.

² Там же, стр. 152.

Это вечное, объективное, диалектическое противоречие лежало, по мнению Лассаля, также в основе революции 1848 г., и именно это противоречие он хочет изобразить в своей драме. Перед нами таким образом — трагедия революции. «Трагическая коллизия» является здесь «формальной», как Лассаль полемически заостряет вопрос против Маркса и Энгельса в своем втором письме—это: «не специфически свойственная какой-либо определенной революции, но постоянно повторяющаяся во всех или почти всех прошлых и будущих революциях коллизия (иногда преодолеваемая, иногда нет), — словом, трагическая коллизия самой революционной ситуации; бывшая налицо как в 1848 и 49 гг., так и в 1792 г., и т. д.». Отсюда вытекает противоречие между целью и средством, неминуемо приводящее к трагедии этот тип изображенного Лассалем революционера; революционный деятель «становится на точку зрения противника и таким образом уже признает свое теоретическое поражение». Усмотренное Аристотелем и Гегелем диалектическое единство цели и средства оказывается разорванным, но «всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно революционные цели не могут быть достигнуты дипломатическими средствами». Рассудок, дипломатические расчеты должны в революции потерпеть крушение. «Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (Revolutionsrechner) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устраняют позади себя своих единомышленников»².

Из такого понимания революции вытекает все воззрение Лассаля на трагическое, на форму и стиль драмы и т. д. Само это понимание, изложенное нами здесь по возможности в формулировках самого Лассаля, имеет свой классовый фундамент в той самокритике, которой могла и должна была подвергнуть себя крайняя левая буржуазной демократии на основе опыта революции 1848—1849 гг. Лассаль, впадающий здесь в спекулятивный самообман, будто им найден внутренний конфликт революции вообще, становится рупором того очень узкого крыла немецкой буржуазной демократии, которое надеялось создать единый буржуазно-пролетарский демократический фронт против «сил старого» и с его помощью провести до конца радикальную буржуазную революцию. Эта тенденция, которая впрочем, как мы покажем в дальнейшем, сразу же перекрещивается у Лассаля с другими противоположными тенденциями, составляет основу его «Системы приобретенных прав» и является тем мотивом, который привлекал к Лассалю убежденных демократов 1848 г. вроде Франца Циглера; разочарование в возможности осуществить эту тенденцию явилось основным мотивом его позднейшего «тори-чартизма», его ожесточенной и «односторонней» борьбы против промышленной буржуазии без соответствующей борьбы с полуфеодалным землевладением

Franz von Sickingen.

Eine historische Tragödie

von

Ferdinand Lassalle.

Die höchste Macht der Reinigung eines Stoffes bleibt doch der Feine gegeben.
A. von Humboldt.

Berlin.

Verlag von Franz Duncker.

(W. Belier's Verlagsabhandlung.)

1859.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ
«ФРАНЦ ФОН СИКИНГЕН»

¹ Там же, стр. 152—153. Подчеркнуто везде, где не оговорено обратное, самим Лассалем.

² Там же, стр. 187.

и его политическими выразителями в Пруссии, более того: в союзе с ними. Короче говоря, согласно этому взгляду, революция 1848—1849 гг. разбилась о «расчетливость», «о дипломатию», о «государственную позицию» вождей. В «Зикингене» Лассаль ставит себе целью выразить в образах трагизм этого крушения как трагизм в всех революций вообще.

Этой историко-философской и политической постановкой вопроса обусловлены эстетические проблемы «Зикингена», его исключительное положение в развитии современной драмы. Лассаль стоит, правда, во многих важных эстетических вопросах целиком на той же почве, что и современная ему немецкая драма и ее теория (под сильным влиянием идеалистической философии от Канта до Гегеля). И он сам вполне сознает эту связь. В предисловии к «Зикингену» он ясно высказывается по этому поводу: «Шаг вперед, сделанный немецкой драмой в лице Шиллера и Гете по сравнению с Шекспиром, я усматриваю в том, что ими, в особенности Шиллером, впервые была создана историческая драма в собственном смысле слова»¹. Он ищет следовательно, правда в противоречии с самим Гегелем, но в широком согласии с эстетиками и поэтами послегегелевского периода, такой тип драмы, который мог бы существовать как самостоятельная форма наряду с античной трагедией и с Шекспиром, образующим у Гегеля завершение «нового» типа в противоположность античному, и явился бы до известной степени третьим периодом, выводящим за пределы античности и Шекспира². Это новое в начале Шиллером развитый сам Лассаль усматривает в том, что «подобная трагедия имеет дело уже не с индивидами, как таковыми, являющимися здесь лишь носителями и воплощениями глубочайших внутренних борений всеобщего духа, а только... с судьбами, решающими вопрос о радостях и горестях всеобщего духа»³. Однако дальнейшее развитие должно перерасти Шиллера, ибо «у самого Шиллера великие конфликты исторического духа составляют только почву, на которой разворачивается трагический конфликт. Подлинным драматическим действием, выделяющимся на этом историческом фоне, душой драматического действия остается... чисто индивидуальная судьба»⁴.

Связь этих мыслей с общим развитием класса буржуазии, в частности с развитием проблем классической немецкой философии, слишком очевидна и общеизвестна, чтобы на ней стоило подробно останавливаться. Нужно только подчеркнуть, что лассалевская постановка вопроса в решающих пунктах существенно отличается от позиции его современников, участвовавших более или менее сознательно, хотя и с различных классовых точек зрения, в процессе разложения гегельянства. Все эти мыслители и поэты 1840—1850 гг. стремятся идейно постигнуть или поэтически изобразить происхождение и развитие буржуазного общества, примирить в системе (или в художественном произведении) те противоречия, которые вызываются экономическим развитием, но не постигаются ими, как таковы. Мы подчеркиваем важность категории «примирения» не только потому, что она была уже у самого Гегеля главным источником внутренних противоречий системы, противоречий, которые не могли быть разрешены и послегегелевскими буржуазными мыслителями, а лишь еще сильнее обострялись при всякой попытке их разрешения, вызывая рецидивы эмпиризма, субъективного идеализма, эклектицизма, релятивизма и т. д., — но главным образом потому, что здесь ясно обнаруживается классовый смысл всей этой эстетической постановки вопроса. Он обнаруживается в том, что обе антиномии, стоявшие перед новыми драматургами и эстети-

¹ Ferdinand Lassalle, Werke, Bd I. S. 133, Cassirer, Berlin, 1919.

² Так как историко-литературные интересы стоят здесь для нас на заднем плане, мы можем ограничиться несколькими беглыми замечаниями. Укажем поэтому лишь на «Эстетику» Фишера, которая объявляет задачей современной драмы объединение античности и Шекспира («Aesthetik», Reutlingen u. Leipzig, 1846—1858, § 908, Bd. III, S. 1417). Эта программа целиком совпадает с программным заявлением Фр. Геббеля в его предисловии к «Марии Магдалине» (Fr. Hebbel, Werke, Jubiläumausgabe, Berlin, 1913, Bd. XI, S. 41), где он говорит, что в противоположность античности и Шекспиру начавшаяся с Гете новая драма «внедрила диалектику непосредственно в самое идею».

³ Ferdinand Lassalle, Werke, Bb. I, S. 134.

⁴ Там же, стр. 133. Совершенно в таком же роде Геббель говорит о Гете, что тот хотя и вступил во владение великим наследием времени, но не использовал его до конца.

ками — антиномия свободы и необходимости, с одной стороны, и индивида и общества, с другой — что эти антиномии, возросшее значение и конкретное содержание которых имеют чисто социальное происхождение, мистифицируются здесь, превращаясь во «вне-временные» споры, которые велись вокруг Гегеля и после Гегеля по вопросу о «трагической» вине, возвращаются в конечном счете вокруг этого вопроса, и ответ на него, определяющий структуру, стиль и т. д. трагедии, освещает ярче всего классовую позицию того или другого мыслителя. Сам Гегель, у которого, с одной стороны, совершенно ясно (хотя и в извращенной идеалистической формулировке) выступают внутренние противоречия классового развития буржуазии, но который, с другой стороны, самым решительным образом одобряет это развитие, и именно в форме утверждения конкретной современности, — сам Гегель весьма энергично устраняет всю проблему «вины-невинности». Необходимо «отбросить ложное представление о вине и невинности». С точки зрения свободы воли, с той точки зрения, имели ли герои трагедии возможность выбирать, они невиновны. Их необходимость, их пафос толкнул их на «дела, составляющие их вину. Быть неповинными в этих делах они вовсе не желают. Наоборот, они гордятся тем, что их дела действительно содеяны ими. Слава великих характеров в том, что они виновны»¹. Правда, это воззрение — связь которого с гегелевской философией истории вполне очевидна — ориентируется на греческую трагедию (что в «Феноменологии» еще определеннее и яснее, чем в самой «Эстетике»). Однако место, которое Гегель отводит искусству в общем развитии, таково, что все новое искусство, даже и «романтическое», является для него разложением искусства, снятием идеи искусства в религии или философии². Проблема вины, проблема свободы-необходимости и т. д. в новой поэзии тоже выступают таким образом в эстетике Гегеля как формы разложения первоначального, классического, греческого подхода; действительно адекватные формулировки вопросов, объективно лежащих, по Гегелю, в основе этих эстетических проблем, Гегель может поэтому дать только в своей философии истории и философии права.

Послегегелевская буржуазная эстетика исходит в этом вопросе из противоположной точки зрения: ее стремление сводится как раз к оправданию специфически современной, новой поэзии. Это приводит к глубокой перестройке гегелевских формулировок, ибо хотя замысел новой эстетики историчен, — он заключается в более или менее сознательном разрыве с гегелевским «концом истории», — однако конкретная ее разработка состоит как раз в поисках и мнимом нахождении таких категорий, которые в определенных вариациях были бы приложимы ко всем периодам истории искусства. Если гегелевские теории были по существу мысленными выражениями определенной исторической эпохи (в «Феноменологии» это выступает яснее, чем в «Эстетике») и если они поэтому несут на себе откровенно выступающую печать существенных особенностей этой эпохи, то путь послегегелевской эстетики ведет к формалистическому пониманию эстетических проблем. Свобода вообще противопоставляется необходимости вообще, положение человека в истории, индивида в обществе и т. д. рассматривается абстрактно. В результате принципы, еще кое-как спаянные у Гегеля, неудержимо распадаются. То обстоятельство, что послегегелевской эстетике присуще как преувеличенное тяготение к принципу определенного исторического содержания (положительное восприятие специфически нового), так и не менее преувеличенное подчеркивание формалистического принципа (сверхисторические категории, одинаково охватывающие все периоды и формы), приводит к тому, что и при обработке частных диалектически-полярных категорий противопоставляются друг другу столь же резко, односторонне и непримиримо. Методологически возникает двойственность абстрактного формализма и эмпирического позитивизма. В занимающем нас частном случае, в области драмы, одни возводят необходимость в граничащую с мистицизмом, часто даже (например у Геббеля) прямо впадающую в мистицизм абстрактность, тогда как у других индивидуализация доводится до жанровых или до патологических черт. Разорванную таким образом

¹ «Aesthetik», S. 552—553.

² Там же, т. II, стр. 231 и сл.; т. III, стр. 580 и сл.

связь приходится затем восстанавливать сложными, надуманными или мистифицирующими средствами. Диалектическое единство свободы и необходимости, их необходимое совместное движение в движущемся противоречии, часто (хотя и на идеалистической основе) встречавшееся у Гегеля, пропадает совершенно, заменяясь этикой, психологией и т. д.

В основе всей этой перемены в постановке эстетических вопросов лежит необходимость определить свое отношение к революции как к надвигающейся актуальной проблеме. Гегель мог трактовать революцию — Великую французскую революцию — как предпосылку современности (революция 1830 г. уже не могла оказать решающего влияния на его мировоззрение). Он был поэтом в состоянии по-своему конкретно говорить о тех коллизиях, которые вызывают революции и называются ими; это позволяло ему рассматривать примирение, взаимное упразднение противоречащих принципов как определенное «мировое состояние»¹. Он мог, таким образом, соединить признание минувшей революции с утверждением существующего порядка. На анализе внутренних противоречий в позиции самого Гегеля мы не можем здесь останавливаться. Совсем иное дело, когда революция стоит перед мыслителями и поэтами как актуальная, современная проблема. Так как вопрос поставлен теперь исторически-конкретно, то всякая абстракция в методологическом подходе к отдельным вопросам и в ответе на них является уклонением от конкретно-исторической проблемы и тем в большей степени, чем конкретнее поставлен вопрос. Яснее всего это сказывается на Ф. Т. Фишере — крупнейшем эстетике послегегелевского периода. Правда, когда Фишер усматривает в революции подлинную тему трагедии², то это несомненный шаг вперед по сравнению с Гегелем. Но тотчас же делается попятное движение, и Фишер даже нисходит на догегелевскую ступень, заявляя, что под революцией он разумеет «постоянную противоположность свободного движения вперед и необходимо существующего порядка, юношеского натиска и задерживающего отпора». В результате такого определения Антигона, Тассо, Валленштейн, Гетц одинаково попадают у него в разряд «революционеров»: всякое восстание против «существующего» относится к категории «революции», даже когда оно исходит из принципа «старого» (Антигона, Гетц). С другой стороны, именно такое слишком абстрактное понимание проблемы вынуждает Фишера разблудить свое умеренно-либеральное сердце. Он говорит: при столкновении двух этих принципов «более глубокая правота на первой стороне (на стороне нового), ибо нравственная идея есть абсолютное движение». Но однако «и существующее имеет свою правоту. Истина лежит посредине... Лишь далекое будущее принесет подлинное примирение». Если в 40-х годах, когда эта теория возникла, она носила еще характер хоть и умеренной, но все же буржуазно-революционной позиции, то в своем дальнейшем конкретном развитии, пришедшем на период после 1848 г., она уже превращается в попытку чисто эстетического оправдания «современной» поэзии, при чем формально-эстетический момент приобретает решающее значение, и буржуазно-революционный принцип целиком растворяется в умеренном либерализме. Корни этого превращения были разумеется заложены уже в первоначальной формулировке теории³. Еще резче проявляется реакционное классовое содержание формалистического понятия революции у крупнейшего драматурга этого времени, у Геббеля⁴. Если, согласно его те-

¹ Наиболее поучительна в этом отношении «Феноменология», где трагедия завершает «опустошение неба» и начинает борьбу философии против богов. Еще яснее высказаны эти мысли в главе «Истинный дух, нравственность», где трагическая эпоха изображается в виде необходимости пролога к правовому состоянию.

² «Aesthetik», Bd. I, S. 315—316. (Это место было отмечено и выписано Марксом.)

³ Ср. «Aesthetik», Bd. II, § 136, где Фишер находит «вполне понятным», что «преимущественными объектами эстетического интереса... являются жертвы революции, дворянство, трон и т. д. Революция должна после крушения ее первого абстрактного взрыва примириться с природой и преданием... она должна перейти к естественному росту, и лишь прядущее дерево, выросшее таким образом, обещает быть прекрасным» (II том «Эстетики» Фишера вышел в 1847 г.).

⁴ Обращение к Геббелю для характеристики общих эстетико-философских предпосылок позиции Лассала как драматурга оправдывается уже тем обстоятельством, что и до нас некоторые авторы, в особенности Меринг, отметили известное средство (хотя

ории, трагедия, и в особенности современная трагедия, имеет своей задачей изображение «родовых мук борющегося за новую форму человечества», то содержанием и целью этого изображения оказывается следующее: «драматическое искусство должно способствовать завершению всемирно-исторического процесса, который происходит в наши дни и который стремится не низвергнуть, а глубже обосновать и следовательно предохранить от разгрома существующие учреждения человечества — политические, религиозные и нравственные»¹.

Таковы самые общие эстетико-философские черты тех литературных течений, к которым примыкает лассалевский «Зикинген». Если мы выше отметили, что драма Лассалья стоит, с одной стороны, по своим существенным признакам на почве этих течений, а с другой — занимает по отношению к ним совершенно своеобразную, исключительную позицию, то это лишь кажущееся противоречие. Лассаль разделяет с этими течениями постановку проблемы, исходный пункт, и в целом ряде решающих методологических вопросов он едва ли идет дальше них (как мы увидим, он скорее даже примыкает к более старым течениям), но от всех остальных он отличается тем, что пытается вложить в формальное понятие революции как основы современной трагедии революционный смысл, т. е. в борьбе «старого» и «нового» он безоговорочно становится на сторону нового. Это вносит ряд изменений в постановку проблемы, но так как основа всей этой постановки не пересматривается Лассалем, то в результате у него получаются лишь еще более резкие противоречия, чем у других. В самом деле: подчеркивание превосходства «нового» («революционного принципа») не только перед лицом всемирно-исторической идеи, как это мы имеем у Фишера, но также перед лицом «эстетической идеи» драмы, и вытекающее отсюда центральное положение «революционного принципа» в эстетическом мировоззрении Лассалья приводит его к попытке дать более конкретное изображение общественных пружин трагической борьбы, чем это делают его современники, которые в очень абстрактной форме или в мистифицированной конкретности могли удовлетворяться «существующим». Но, с другой стороны, благодаря этой же самой тенденции он должен был видеть и изображать в более конкретно схваченных людях и общественных отношениях лишь носителей, представителей и выразителей «всемирно-исторической идеи». Это противоречие превращается у Лассалья в абстрактную антиномию, ибо он хочет в конкретные отношения внести «идею революции вообще» и одновременно полагает и упраждает их конкретность. Одушевляемый революционным порывом своей исходной точки зрения, Лассаль испытывает справедливую антипатию к драматическому жанру своего времени, к «подробному углублению в безыдейную и пустую особенность случайного характера», но он отнюдь не спасается от грозящего ему, как он сам это видит, «подводного камня» «абстрактной и ученой поэзии», усматривая историческое «вовсе не в историческом материале» самом по себе, а в том, что на этом материале «развертывается... глубочайшая всемирно-историческая идея и идейная коллизия переломной эпохи»².

И поэтому Лассаль, несмотря на его уже упомянутые выше оговорки, возвращается к Шиллеру. Так как при своей исходной точке зрения он никак не мог воспринять единство всеобщего и частного в образах и фабуле как единство индивида и класса, единство судьбы отдельной личности и исторической классовой судьбы, то ему оставалось только попытаться преодолеть неразрешенную антиномию единичного и всеобщего с помощью риторически-этического пафоса. Такого рода преодоление, т. е. возврат к шиллеровскому пафосу маркиза Позы, при всем его превосходстве над мистифицирующей психологией реакционных современников Лассалья, не может однако дать реальное оформление даже буржуазно-революционным конфликтам. Не случайно, что стиль этот возник не на почве самой буржуазной революции, т. е. во Франции или в Англии, а на почве

и при противоположных исходных пунктах в их взглядах на связь между трагедией и революцией. Ср. соображения Меринга о «Гигесе» Геббеля о «Зикингене» Лассалья Werke, Bd. II, S. 48).

¹ Там же, стр. 42 и 47—48.

² Werke, Bd. I, S. 135.

ее эстетического страдания в Германии. Он с самого начала оформляет великие исторические антагонизмы в виде словесных поединков руководящих «всемирно-исторических личностей», чьей «волей», «решением» и т. д. якобы определяется судьба дальнейшего развития. Таким образом на выработку этого стиля — у Шиллера это особенно ясно видно в «период маркиза Позы» — по меньшей мере сильно повлияло представление о «революции сверху», о «просвещенном монархе». Впрочем стилистический возврат Лассалья к Шиллеру носит не только формальный характер, вопреки иллюзии самого Лассалья. На самом деле во всей фабуле «Зикингена» и во всей исторической концепции его автора имеются элементы такого расчета на «революцию сверху». В решающей сцене второго акта между Зикингеном и императором Карлом V¹ мы видим попытку Зикингена привлечь императора к своим целям, при чем в результате этой сцены, формально напоминающей диалог между Позой и Филиппом, оказывается, что цель Зикингена — убедить Карла произвести в Германии революцию «английского» типа. Правда, Лассаль стоит выше иллюзии своего героя или по крайней мере воображает, что стоит выше подобных иллюзий. Ведь «трагическую вину» своего героя он усматривает как раз в этом «лукавстве» по отношению к «идее революции». Но самообман Лассалья обнаруживается именно в том, что он видит здесь по-шиллеровски «трагическую вину». Лассаль исходит не из объективно-классовых условий; так например, характер Зикингена складывается у него не как характер представителя определенного класса — объективно-классовые условия служат только фоном, на котором должна выделиться диалектика «идеи революции». Благодаря этому характеры драмы приобретают «свободу». Подобно тому как они могут теперь лишь риторически излагать свои «идеи» в диалогах, а не выражать их своими действиями, так и их связи друг с другом, со своим классом, с фабулой становятся «свободными» действиями — предметами этики. Лассаль вынужден таким образом вернуться от Гегеля к «трагической вине» Аристотеля². Защищая образ Зикингена, Лассаль старается доказать, что «вина» Зикингена не просто «интеллектуальное заблуждение», но вместе с тем и нравственная вина — нравственная вина в самом интеллектуальном заблуждении, ибо она возникает из недостатка доверия к нравственной идее и к ее в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам»³.

Связь между эстетической и драматически-композиционной проблемой «трагической вины», а также шиллеровским этико-риторическим стилем, с одной стороны, и абстрактно и именно поэтому морально, а не политически поставленным вопросом о «реальной политике» и «компромиссах» — с другой, совершенно очевидна. Тем, что Лассаль ставит вопрос о «реальной политике» и «компромиссах» не на классово-материальную почву, а в духе «философии истории», формально, он сам отрезает себе путь всякому другому решению, кроме этического. Когда принципы «старого» и «нового» резко и непримиримо противоплагаются друг другу, вообще не может быть поставлен возникающий в процессе конкретной классовой борьбы вопрос о том, как с помощью компромиссов привлечь на свою сторону или нейтрализовать колеблющиеся классы. Всякое отклонение от прямого осуществления последней цели («принципа») становится «предательством» по отношению к «идее», впутывает героя в «трагическую вину». Различие между умеренными и радикалами, между жирондистами и якобинцами становится моральной проблемой⁴, при чем однако Лассаль игнорирует и не может

¹ Там же, т. I, стр. 195 (ср. особенно стр. 205—206).

² Как во многих вопросах, так и здесь Лассаль воображает, что стоит на ортодоксально-гегельянской точке зрения. Ср. его дискуссию с Адольфом Штаром об Аристотеле и трагической вине (письмо Лассалья в «Deutsche Revue», ноябрь 1911 г., и ответ Штара в майеровском издании писем Лассалья, т. II, стр. 141). В этой дискуссии Лассаль все время ссылается на Гегеля, хотя приведенное им место (протитированное выше и нами) резко противоречит всей его теории. Это не единственный случай, когда Лассаль вынужден вносить в философию Гегеля субъективистски-этические элементы, фиксировать Гегеля, хотя сознательно он всегда боролся против этих тенденций, как показывает его полемика с Розенкранцем.

³ Briefwechsel, Bd. III, S. 154.

⁴ Там же, т. III, стр. 153. Что в этом одно из идеологических оснований понятия «единой реакционной массы» — ясно само собой.



ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

С фотографии (конца 50-х гг.), хранящейся в Музее Маркса и Энгельса

не игнорировать то обстоятельство, что якобинцы так же заключали «компромиссы», как и жирондисты, только исходя из других классовых предпосылок и поэтому с другими классами, с другим содержанием. А отсюда вполне понятно, что проблему крестьянских войн, как и проблему революции 1848—1849 гг., он также может рассматривать только с этой точки зрения.

О целом ряде эстетических и историко-политических противоречий, вытекающих из этой позиции Лассалья, нам еще придется говорить подробнее. Здесь же отметим только, как крепко и органично связан вопрос о стиле лассалевской трагедии, которая по-шллеровски построена на основе «трагической вины» и имеет своей темой диалектические противоречия в «идее революции», с охарактеризованной выше политико-исторической установкой Лассалья. Если Лассаль понимает «самокритику» революции 1848 г. как «трагическую» критику революции вообще, если он поэтому в медлительной, маневрирующей, слишком «умной» «реальной политике» усматривает типичную «трагическую вину» революционеров, то эта абстрактно-формальная постановка вопроса не только определяет, как мы видели, весь эстетический характер, все художественное содержание его драмы, но она тесно связана и с политическим содержанием всей его позиции. Проблема «реальной политики» отрывается от решающего классового содержания революции 1848 г., от борьбы между буржуазией и пролетариатом; всякое реальное отношение к этой проблеме — хотя бы даже в рамках буржуазной революции — сразу же становится методологически невозможным. Но самообман Лассалья, воображающего, что его абстрактно-диалектическая точка зрения возносит его на вершину самокритики революции, обнаруживается не только с этой стороны. Его самообман оказывается двойным. В самом деле: тот догматизм, то отсутствие всякой критики, с каким Лассаль избирает эту установку исходным пунктом для самокритики революции 1848 г., то, что он останавливается на непосредственности радикально-буржуазной точки зрения, не отдавая себе отчета в ее классовой обусловленности, — все это доказывает вместе с тем, что он в состоянии представлять себе революцию только наивно догматически, как буржуазную революцию, что поднятые им здесь проблемы революции он ставит, сам того не замечая, с буржуазной, а не с пролетарской точки зрения¹.

II

Переходя к критике «Зикингена», данной Марксом и Энгельсом, к их полемике против взглядов Лассалья, мы должны были бы сопоставить сначала их интимные высказывания по этому предмету с их письмами к самому Лассалю. К сожалению, для такой сверки, возможной и весьма поучительной в отношении «Гераклита» и «Системы приобретенных прав», переписка Маркса и Энгельса не дает никакого материала. Маркс и Энгельс не обменялись мнениями ни по поводу первого письма Лассалья, ни по поводу своих собственных ответов ему. Единственное замечание, которое быть может относится сюда, это слова Маркса в письме от 19 апреля 1859 г. (этой же датой помечен ответ Маркса Лассалю), где мы читаем: «Ad vocem» Лассаль завтра, когда я вообще напишу тебе подробнее»². Однако в следующем письме, датированном 22 апреля, о Лассале нет ни слова. Таким образом нам остается обратиться только к анализу самих писем Маркса и Энгельса к Лассалю. Отмечая прежде всего их сравнительно сердечный тон и откровенность содержащейся в них критики, мы должны разумеется учесть, что ко времени этой переписки и без того не слишком сильное³ доверие Маркса и Энгельса к Лассалю уже было впервые сильно поколеблено разоблачениями Леви; что Маркс смотрел на «Гераклита» как на «посмертный» цветок минувшей эпохи и подверг уничтожающей критике совершенно некритическое отношение Лассалья к гегелевской диалекти-

¹ Этот вопрос выяснится еще больше при рассмотрении полемики о роли крестьян. Разочарование Лассалья по поводу приема, оказанного его «Системе приобретенных прав» Марксом, имеет тот же корень. Ср. особенно письмо Лассалья Марксу от 27 марта 1861 г. (т. III, стр. 381).

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 398.

³ Ср. письма Маркса к Энгельсу, относящиеся к 1853 г. (Соч., т. XXI, стр. 468 и 470-471).

ке¹; что, далее, политические разногласия, а также трения в связи с немецким изданием сочинений Маркса и Энгельса уже довольно сильно возросли к этому времени. Тем неожиданное должен показаться тон разбираемых писем и дружеская откровенность критики, хотя и не следует забывать, что критика входила составной частью в сложную «дипломатию» Маркса по отношению к Лассалю². Тем не менее мы считали бы неправильным толковать эти письма как чисто «дипломатические». Характерно например, что в письме Энгельса встречается следующее замечание: «Впрочем мне и нам всегда приятно, когда появляется новое доказательство, что в какой бы области ни выступила наша партия, она всегда обнаруживает при этом превосходство», — замечание, вполне соответствующее по духу интимной оценке «Гераклита» Марксом³. А если еще припомнить, что незадолго до того Маркс, оценивая положение Лассалья в Берлине, высказал мысль о неизбежности его разрыва с лево-буржуазной демократией,⁴ то придется заключить, что разбираемые письма Маркса и Энгельса были не чистой «дипломатией», а действительной попыткой убедить Лассалья в неправильности его точки зрения.

И в самом деле: как Маркс, так и Энгельс сразу подходят в своих возражениях к самой сути вопроса. Маркс хвалит за мысль Лассалья написать драматическую самокритику революции 1848 г.: «...з а д у м а н н а я (разрядка наша.— Г. Л.) коллизия не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг. Я могу поэтому лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии». Однако это одобрение тотчас же переходит в самую суровую критику: «Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой (разрядка наша.— Г. Л.) коллизии?»⁵ Возражение Маркса кажется на первый взгляд чисто эстетическим и, как мы еще увидим, оно действительно содержит в себе эстетические элементы — оно вскрывает противоречия между заданием и материалом лассалевской драмы. Но тотчас же обнаруживается, что главный интерес для Маркса и Энгельса совсем не в этом. Согласие насчет «задуманной» коллизии оказывается с самого начала чисто мнимым; оно имеет лишь тот совершенно абстрактный смысл, что Маркс и Энгельс считают критику революции 1848 г. вообще важной и желательной. Но они разумеют под этой критикой как методологически, так и по существу нечто совсем иное, чем Лассаль, а поэтом и возражение, что выбранная Лассалем тема не годится для изображения «этой» коллизии, имеет не только эстетическое значение, а поражает всю концепцию Лассалья в самом ее основании. Лассаль почувствовал это очень ясно и прямо высказал в своем ответе: «Ваши упреки,— писал он Марксу и Энгельсу,— сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал «Франца фон Зикингена», а не «Тамаса Мюндера» или какую-либо другую трагедию из эпохи крестьянских войн»⁶.

В этом действительно центральный нерв возражений Маркса и Энгельса. Они спорят против мысли Лассалья, будто причиной гибели Зикингена была его «дипломатия», т. е. его индивидуальная «трагическая вина» (безразлично — интеллектуальная, нравственная или та и другая). То, что Лассаль изображает как «вину», есть на самом деле лишь необходимое последствие объективного классового положения Зикингена. «Он погиб,— пишет Маркс⁷,— потому что как рыцарь и как представитель гнущегося класса восстал против существующего, или, вернее, против новой

¹ Там же, т. XXII, стр. 273, а также письмо Маркса к Лассалю (издание Г. Майера, т. III, стр. 123).

² Ср. письмо к Энгельсу о «Гераклите»: «В нескольких незначительных замечаниях — так как лишь на фоне недостатков похвала кажется серьезной — я все же намекнул на действительные недостатки работы». (Соч., XXII, стр. 340.)

³ Маркс говорит: «Все же наш еврейчик и даже его «Гераклит», хотя он и написан очень скверно, лучше чего бы то ни было, чем могут похвастать демократы». (Там же, XXI, стр. 385.)

⁴ «В то же время его пребывание в Берлине убедило его, что с буржуазной партией такому энергичному парню, как он, делать нечего». (Там же, стр. 386.)

⁵ Nachgelassene Briefe u. Schriften, т. III, стр. 173.

⁶ Там же, т. III, стр. 204.

⁷ Там же, т. III, стр. 173—174.

формы существующего». Этим самым уже устранено представление Лассалья о трагедии революции в о о б щ е, для которой «Зикинген» является лишь внешним воплощением, и вопрос ставится так: что представляет собой действительный Зикинген в классовых боях своего времени? Ответ Маркса совершенно ясен¹. Если отвлечься от специфически индивидуального в Зикингене, «то останется Гетц фон Берлихинген. В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адекватной форме, и поэтому Гете справедливо выбрал его в герои». В своей борьбе Зикинген «просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически».

Это замечание — о вытекающих из него дальнейших следствиях мы тотчас будем говорить подробнее — необыкновенно поучительно; оно ярко освещает весь комплекс принципиальных разногласий между Марксом и Лассалем и в то же время показывает, как относились они в этих вопросах к Гегелю и его последователям. Разногласие ясно проявляется в эстетическом понимании Гетца фон Берлихингена, в суждениях о Гете, тем более, что в политической оценке Геца как «жалкого субъекта» оба — и Маркс и Лассаль — вполне сходятся. Маркс хвалит Гете, как мы видели, за то, что в лице Гетца он выбрал такого героя, в котором исторический конфликт рыцарства с императором и князьями получает свое адекватное выражение. Тут Маркс в известном смысле находится в согласии с Гегелем. Гегель пишет²: «То, что Гете выбрал своей основной темой это столкновение, эту коллизию средневековой героической эпохи с подчиненной законам современной жизнью, свидетельствует о его великом чутье. В самом деле: Гетц, Зикинген это — еще герои, которые хотят, опираясь на свою личность, на свою отвагу и на свое прямое чувство права, самостоятельно урегулировать условия жизни в более тесной и более широкой сфере; но новый порядок вещей делает самого Гетца неправым и приводит его к гибели, ибо только рыцарство и феодальные отношения являются в средние века подлинной почвой для такой самостоятельности». Эти рассуждения заканчиваются и у Гегеля ссылкой на Дон-Кихота. Таким образом при диаметральной противоположности в оценке Гетца («жалкий субъект» и «герой») как Гегель, так и Маркс считают Гетца и Зикингена представителями погибающей эпохи и усматривают поэтическую значительность Гете в том, что он выбрал своей темой типичный всемирно-исторический конфликт. Совсем иначе смотрит на дело Лассаль. В своем ответном письме Марксу и Энгельсу он, цепляясь за выражение «жалкий субъект», решительно высказывается против похвалы Маркса по адресу Гете и замечает, что «только отсутствием у Гете исторического чутья» объясняется то, что он мог «сделать героем трагедии этого совершенно ретроградного молодца»³.

О внутреннем противоречии, которое сказывается при этом во всей исторической концепции Лассалья, мы будем говорить лишь при анализе его ответного письма. Там он оценивает все крестьянское движение, подобно движению исторического Зикингена, как движение реакционное и следовательно, с его же точки зрения, не способное явиться темой для трагедии. Мы отмечаем это противоречие теперь же только потому, что в нем проявляется своеобразная позиция Лассалья по отношению к Гегелю и позднейшим гегельянкам. Все они разрывают с историческим пониманием трагического у Гегеля и стремятся выработать общую формальную концепцию трагедии, в центре которой стоит, как мы показали, революция, понимаемая чисто формально. К чему ведут подобные взгляды, мы уже вкратце показали на примере двух типичных современников Лассалья — эстетика Фишера и поэта Геббеля. К сказанному нам остается еще только прибавить, что для Фишера, с его чисто формальным понятием трагического, и Гетц, и крестьянские войны являются возможными темами трагедии⁴, у консервативного же

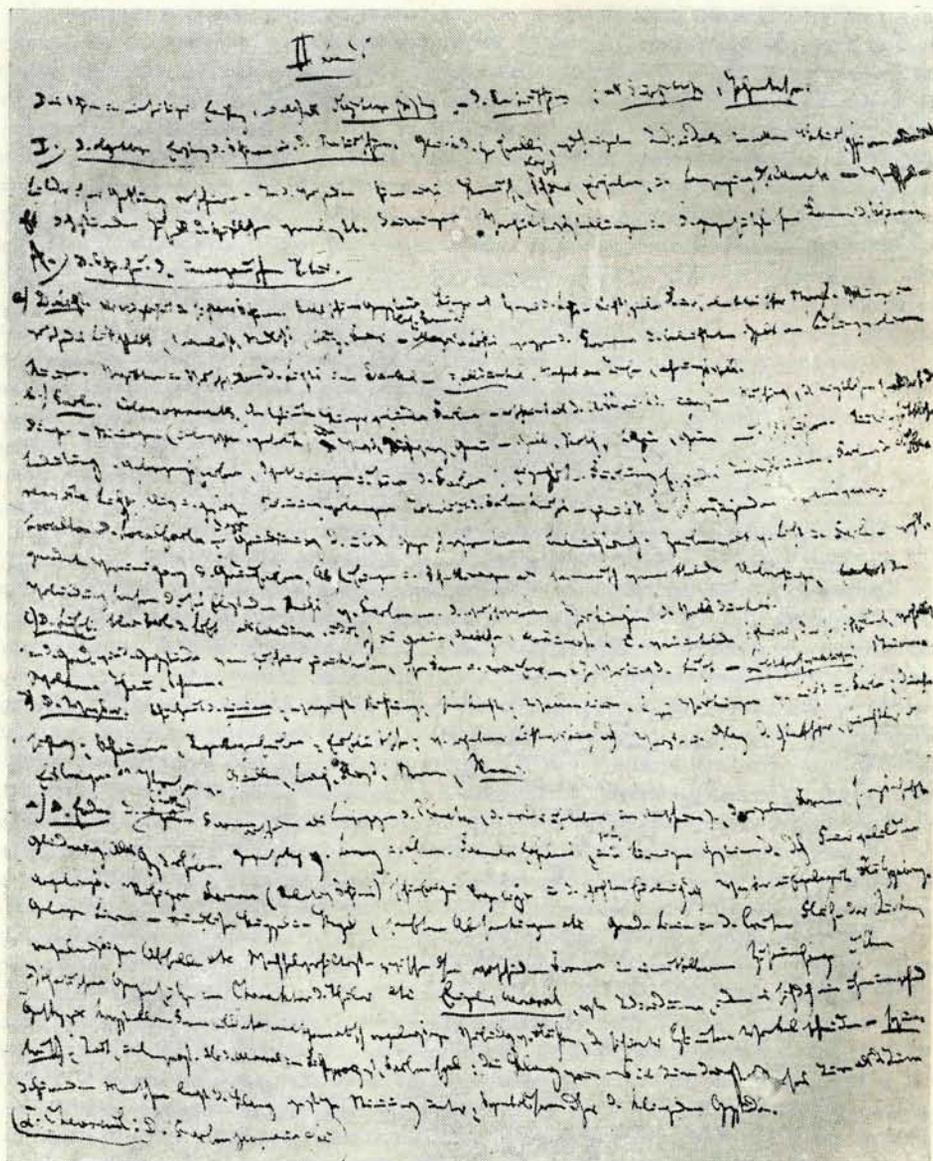
¹ Там же, т. III, стр. 173—174.

² «Aesthetik», Bd. I, S. 246—247. Разумеется, когда речь идет о «герое», следует иметь в виду специфически гегелевский взгляд на «доправовое» состояние, на состояние, «предшествующее гражданскому обществу». Ср. приведенное выше место из «Феноменологии» о трагедии и в особенности «Философию права», § 92, прибавление.

³ Nachgelassene Briefe etc. Bd. III, S. 196

⁴ Ср. наряду с вышеприведенным местом в особенности «Aesthetik», § 368, Bd. II, S. 273—274. Впрочем для умеренно-либерального Фишера характерно при этом, что через восемь лет после того, как он рекомендовал в качестве темы для трагедии

Гегбеля формальное понимание заостряется настолько, что трагическая коллизия приближается к «первородному греху» и с драматической точки зрения становится совершенно безразличным, «погибает ли герой жертвой высокого или низкого стремления»¹.



СТРАНИЦА ВЫПИСОК КАРЛА МАРКСА ИЗ «ЭСТЕТИКИ» ФИШЕРА
С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

путь, ведущий от Гегеля через его последователей к Шопенгауэру. Лассаль, принципиально стоящий на почве этого формального понимания трагического, делает отчаянные усилия спастись от реакционных последствий своего отправного пункта, извлечь из фор-

крестьянские войны, он уже отклоняет даже тему «Зикинген». «Это был дельный человек, но не герой в высшем смысле слова», пишет он Лассалю 26 апреля 1889 г. (Nachgelassene Briefe u. Schriften, Bd. II, S. 206).

¹ «Mein Wort über das Drama» (указан. место, стр. 29—30).

мифологизирующее изложение на экономически-классовый язык, и видит яснее, чем кто-либо, «филистерскую» ограниченность Гегеля. Напротив, суждение Лассаля, несмотря на его политическое согласие с Марксом, остается морализирующим оценочным суждением¹.

Но вернемся к самой сути дискуссии. С точки зрения Маркса должен быть поставлен вопрос: какая трагедия может возникнуть на подобной основе? По Марксу, она заключается в следующем: «Зикинген и Гуттен гибнут оттого, что они были в своем воображении революционерами (последнего нельзя сказать о Гетце) и, совсем как образованное польское дворянство 1830 г., с одной стороны, сделали носителями новых идей, а с другой — фактически представляли реакционный классовый интерес». Это значит, что Зикинген не мог в виду своего классового положения в качестве рыцаря действовать иначе. «Чтобы начать дело иначе, он должен был бы прямо и сразу же апеллировать к городам и крестьянам, т. е. тем самым классам, развитие которых = отрицанию рыцарства». Энгельс, разобравший эту сторону вопроса еще подробнее, чем Маркс, принимает на мгновение — в виде методологического приема — наиболее благоприятное для Лассаля предположение, что Зикинген и Гуттен ставили себе целью освободить крестьян. «Но тогда тотчас же получается, — продолжает он, — то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практической невозможностью осуществления» (последняя разрядка наша — Г. Л.).

Из всего вышеизложенного легко убедиться, что «задуманная коллизия», одобряемая Марксом, не имеет ничего общего с подлинной темой Лассаля и даже диаметрально противоположна ей. Мы можем при этом оставить в стороне вопрос о формальном понимании революции, о лассалевской трагедии революции в о б щ е, ибо позиция Маркса и Энгельса в этом пункте совершенно ясна. Ограничимся вопросом о крестьянской войне, взятым, как этого желал Лассаль, в связи с революцией 1848 г. Мысль провести параллель между этими двумя событиями вовсе не принадлежит самому Лассалю. Энгельс провел уже эту параллель в своем этюде о «Немецкой крестьянской войне» в «Обзрении Новой Рейнской газеты» (1850 г.) весьма конкретно и с большой четкостью. И если Маркс и Энгельс в своей полемике с Лассалем то и дело возвращаются к вопросу о Мюнцере, то это вытекает с такой же необходимостью из их отношения к революции 1848 г. (а тем самым, — хотя методологически и совершенно иначе, чем у Лассаля, — к буржуазной революции вообще), с какой лассалевский выбор темы «Зикинген» и его интерпретация этой темы вытекают из его отношения к буржуазной революции, которую он впрочем отождествлял с революцией вообще. Энгельс показывает это с несравненной ясностью при анализе позиции Мюнцера: «Худшее, что может случиться с вождем крайней партии, это необходимость взять в свои руки правление в такую эпоху, когда движение еще не созрело для господства того класса, который он представляет... Так он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может делать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен делать, неосуществимо. Ему приходится в интересах самого движения проводить интересы чуждого ему класса, а свой собственный класс кормить фразами и обещаниями, заверять его, что интересы чуждого ему класса суть его собственные интересы. Человек, попавший в такое ложное положение, обречен на неминуемую гибель»².

Трагедия Мюнцера является таким образом исторической по преимуществу; из нее можно конечно извлечь стратегические и тактические уроки, применимые *mutatis mutandis* и к другим условиям, но мы неизбежно пришли бы к извращению диалектики, к оппортунизму, если бы стали толковать вышеприведенные слова Энгельса абстрактно,

¹ Меринг, как это с ним часто бывает, находится и в этом пункте под более сильным влиянием Лассаля, чем Маркса (Mehring, Werke, Berlin, 1930, Bd. II, S. 110).

² Engels, Der deutsche Bauernkrieg. Elementarbücher des Kommunismus. Bd. VIII, Berlin, 1925, S. 117—118.

в смысле общего предостережения не начинать борьбу в «несозревшей» ситуации. Поэтому Ленин подчеркивает в своей статье против Мартынова¹ конкретно-исторический характер этих слов Энгельса. Мартынов (равно как и Плеханов) хотел использовать в 1905 г. энгельсовский анализ положения Мюнцера в качестве аргумента против участия РСДРП в революционном правительстве и в интересах гегемонии буржуазии в буржуазной революции. Ленин метко показал, что конкретное противоречие в положении Мюнцера, из которого Энгельс и выводит его трагедию в письме к Лассалю, не имеет ничего общего с этой проблемой, что Мартынов пользуется словами Энгельса только как предлогом для уклонения от действительного анализа ситуации и от выводов из ее правильного анализа. Рассуждения Энгельса представляют собой конкретный анализ классового положения Германии в 1525 г., и они как раз показывают на примере трагедии Мюнцера, как из трудной «несозревшей» ситуации можно извлечь революционно возможный максимум, если правильно и решительно действовать. Вопреки мысли оппортунистов, это отнюдь не есть «прообраз» такой «несозревшей» ситуации, в которой действовать вообще невозможно. Анализируя революции прошлого, Маркс и Энгельс всегда выводят из «несозревшей» ситуации те самообманы революционеров, заблуждающихся насчет действительного направления объективного, прогрессивно-революционного процесса, которые возникают как исторически неизбежные, ложные отражения этого процесса в сознании сторонников «крайней партии». Таков анализ якобинцев у Маркса и таков же анализ положения Мюнцера у Энгельса. Эта революционная самокритика предшественников у Маркса, Энгельса и Ленина дает одновременно основу как для исторического понимания (и художественного изображения) прошлых революций, так и для извлечения правильных политических уроков из этой самокритики. Наоборот, абстрактно-схематический, неисторический взгляд (от Лассалю до Мартынова и дальше, в самых разнообразных оттенках) приводит на практике к оппортунизму, а в теории преграждает путь к пониманию революций прошлого. Это может проявиться, смотря по исторической конъюнктуре каждого данного оттенка оппортунизма, либо в идеализировании прошлых революций, в затушевывании специфических различий между различными ступенями развития, либо в искажении, умалении, опорочении их революционного характера. Во всяком случае здесь всегда разрывается диалектически-историческая связь, обнимающая как родство, так и различие сравниваемых ситуаций. Но так как анализ положения Мюнцера у Маркса, Энгельса и Ленина является конкретно-историческим, то приложение их учений зависит от той ситуации, в которой и к которой они прилагаются. Энгельс видел в 1850 г. в проблеме Мюнцера — *mutatis mutandis* — проблему революции 1848 г., как это между прочим видно из его рассуждений, следующих тотчас же после приведенного нами выше места. Но вступительная фраза этой цитаты показывает вместе с тем, что во всей этой проблеме, даже в такой наиболее широкой постановке, Энгельс видел только проблему определенной ступени революционного движения. Уже в 1874 г. (в вводных замечаниях ко 2-му изданию «Крестьянской войны») Энгельс ставит вопрос об аналогии между 1525 и 1848 гг. в том смысле, что пролетариат «значит тоже нуждается в союзниках»; трагическое положение Мюнцера превращается таким образом — вместе с усилением революционного класса — в стратегический вопрос о союзниках и резервах революции.

Итак, для Маркса и Энгельса этот анализ «трагического» положения «крайней партии» ни на минуту не заключал в себе «вечной» проблемы. Энгельс имеет здесь в виду только своеобразную позицию Мюнцера как вождя революционной «плебейской» партии, которая «хотя бы в фантазии» должна была «стремиться даже за пределы едва лишь возникшего буржуазного общества»². Но аналогия с 1848—1849 гг. распространяется у Маркса и Энгельса лишь на определенные конкретные моменты классовых отношений и на вытекающие отсюда стратегически-тактические проблемы и, стало быть, лишь на определенные стороны классовой подоплеки мюнцеровской позиции, а не на его трагедию как трагедию революции вообще. «Коммунистический манифест» начертал еще до взрыва революции ясную программу действия «крайней партии», а после пора-

¹ «Соц.-демократия и временное рев. правительство», Собр. соч., т. VII, стр. 186 и сл.

² «Bauernkrieg», S. 40.

жения революции и в ожидании нового революционного подъема Маркс устанавливает на основе вполне конкретной самокритики, что его общий прогноз целиком оправдался. Правда, он устанавливает точно так же, что одновременно с успехами произошло и «значительное ослабление» Союза коммунистов, и в результате «рабочая партия утратила свою единственную твердую опору... и попала поэтому в общем движении целиком под власть и руководство мелкобуржуазных демократов»¹. То же самое «Обращение» дает точные фактические директивы, чтобы обеспечить правильное отношение рабочей партии к различным классам и их партиям во всех фазах назревающего революционного подъема. Трагедия Мюнцера является таким образом для Маркса и Энгельса трагедией ситуации, принадлежавшей уже тогда историческому прошлому. Если же они все-таки выдвинули ее на первый план (и, как мы видели, не только в дискуссии о «Зикингене»), то это объясняется историко-политически теми внутренними аналогиями между этой ситуацией и революцией 1848 г., которые неоднократно вскрывались Энгельсом, а подытожить уроки последней и внедрить их в сознание своих сторонников было центральной задачей всей деятельности Маркса и Энгельса после поражения революции. В деле собирания сил, в деле идеологического воспитания Лассаль еще играл для Маркса и Энгельса в этот период немаловажную роль. Поэтому его попытка подойти к этим вопросам с помощью художественного творчества должна была встретить их одобрение, но именно поэтому же естественно было их желание убедить его в коренной ошибочности его концепции.

Итак, эстетическое на первый взгляд разногласие относительно выбора Мюнцера или Зикингена в качестве темы трагедии переходит в вопрос о том, усматривать ли главное затруднение революции в экономической, идеологической, организационной слабости самого революционного класса², что ведет к охарактеризованной Энгельсом трагедии Мюнцера и к сформулированным Марксом и Энгельсом в их письмах к Лассалю возражениям против пригодности темы «Зикинген», — или же считать вместе с Лассалем центральной проблемой «всеобщую» революцию против «старого», при чем главным вопросом окажется проблема «дипломатии», «реальной политики», словом, тема «Зикинген». Мы имеем, стало быть, с одной стороны, вопрос о «союзниках» революционного класса, т. е. объективно-исторический вопрос, а с другой — вопрос о способности известного «интеллигентного» промежуточного слоя руководить всеми недовольными существующим режимом классами, при чем центральной проблемой оказывается связанность этих вождей со «старым» миром, трудность для них «совлечь с себя ветхого Адама», т. е. этико-психологический вопрос. Маркс и Энгельс осуществляют таким образом действительную самокритику «крайнего», единственного подлинно революционного крыла революции 1848 г., они вскрывают объективные условия крушения революции с помощью беспощадного классового анализа. Лассаль же, наоборот, подвергает критике колеблющийся (в силу объективно-экономических условий), «дипломатизирующий», «реально-политический» «центр». Так как он не видит в его поведении исторически-необходимого, объективно-экономического момента (во всяком случае не видит действительного значения этого момента)³, то он поневоле должен остановиться на чисто идеологической интерпретации исторического процесса, что и приводит его по содержанию к теме «Зикинген», а с эстетически-формальной стороны к морализирующему пафосу, к «трагической вине», к Шиллеру.

¹ «Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов». Любопытно, что Лассаль нашел это обращение «превосходным» (письмо Марксу от 3 июля 1851 г.).

² «Плебеев», как выражается Энгельс в «Bauernkrieg», стр. 39—40.

³ Мы имеем здесь в виду основные установки Лассалья в его произведениях и политической деятельности. Конечно у него найдется сколько угодно изречений, признающих роль пролетариата и социалистический характер революции (так, он пишет Марксу в письме от 24 октября 1849 г., что ему теперь ясно, «что никакая борьба уже не может быть успешна в Европе, если она не носит с самого начала ярко выраженного чисто социалистического характера» (Nachgelassene Briefe etc., Bd. III, S. 14 и т. д.). Но дело-то в том, что в основе его литературной и политической деятельности лежит совсем другая концепция революции, и сочетание этих двух концепций может быть только чисто внешним, эклектичным. Мы увидим, что в ответном письме Лассалья это противоречие проступает совершенно ясно.

Как Маркс, так и Энгельс ставят действительно в своих письмах вопрос о шиллеровском стиле в «Зикингене». Тем самым вся дискуссия приобретает еще в большей мере эстетическое направление, не теряя однако своей тесной связи с рассмотренным выше основным разногласием. В самом деле, главнейшая композиционная ошибка, отмечаемая Марксом и Энгельсом у Лассалю, заключается, по Марксу, в следующем¹: «Дворянские представители революции, за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой империи и кулачном праве, не должны были, значит, так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя; представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были бы составить существенный активный фон». Совершенно в таком же духе пишет Энгельс², похвалив сначала Лассалю за изображение князей, городов и т. д.: «...так сказать, официальные элементы тогдашнего движения этим приблизительно исчерпаны. Но недостаточно, как мне кажется, подчеркнуты у вас неофициальные, плебейские и крестьянские элементы с их сопутствующим теоретическим выражением». После всего вышесказанного ясно, в чем подлинная суть этих эстетических, композиционных возражений. Но Маркс и Энгельс стараются вообще использовать каждый поворот дискуссии, чтобы с самых различных точек зрения убедить Лассалю в ошибочности его понимания. Так Энгельс вслед за приведенной нами только что цитатой далее указывает, что цель Лассалю — изобразить в лице Зикингена героя «политического освобождения и национального величия»³ — была бы достигнута гораздо лучше с помощью изображения крестьянской войны, ибо «крестьянское движение, — говорит Энгельс, — было на свой лад столь же национально, столь же направлено против князей, как и движение дворянства, а колоссальные размеры борьбы, в которой оно пало, резко контрастируют с той легкостью, с какой дворянство, предоставив Зикингена его собственной участи, примирилось со своим историческим призванием к придворному раболепству». И далее Энгельс объясняет выпадение из лассалевской драмы «подлинно трагического элемента в судьбе Зикингена» именно этой «недооценкой крестьянского движения». Еще решительнее выражает эту мысль Маркс. Он подытоживает всю свою полемику против темы «Зикинген» и атакует центральное идейное содержание драмы, упрекая Лассалю в том, что действие драмы охватывает только проблемы буржуазной революции, не делая решительного шага за ее пределы. «Тогда ты мог бы, — пишет он вслед за приведенным выше местом, об игнорировании крестьян, — и в гораздо большей мере выразить как раз и новейшие идеи в их чистейшей форме (разрядка наша. — Г. Л.), теперь же главной идеей фактически остается у тебя, наряду с религиозной свободой, гражданское единство». И, пытаясь придать своей критике задуманной Лассалем самокритики революции 1848 г. диалектический характер в смысле самокритики Лассалю, он в заключение пишет: «Не впал ли ты до известной степени сам, как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?»

Переходя в заключение, казалось бы, уже к чисто эстетической стороне дискуссии, к критике шиллеровского стиля в драме Лассалю, мы после всего сказанного заранее можем быть уверены, что и эта сторона вопроса имеет свою классовую и идеологическую подоплеку. Не случайно Маркс вставил свою критику стиля драмы между двумя последними из приведенных нами мест. Если он делает здесь Лассалю следующий упрек: «... тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим главнейшим недостатком» (последняя разрядка наша. — Г. Л.), — то это суждение весьма убедительно и тесно связано с упреком в дипломатической игре с революцией. Маркс указывает здесь весьма осторожно, вполне оставаясь в рамках эстетической дискуссии, на связь абстрактно-морализирующего идеализма Лассалю с его политическим оппортунизмом.

¹ Nachgelassene Briefe etc., Bd. III, S. 174.

² Там же, стр. 182.

³ Vorwort F. Lassalle, Werke (Cassirer), Bd. I, S. 130.

Было бы следовательно большой ошибкой видеть в выдвижении Шекспира против Шиллера лишь чисто эстетический вопрос или вместе с Мерингом усматривать в пристрастии Маркса и Энгельса к Шекспиру, а Лассаля к Шиллеру только различие индивидуальных вкусов. Когда Меринг в посвященной этому вопросу статье¹ пишет, что «Лассаль был не в меньшей мере, чем Маркс и Энгельс, учеником Фихте и Гегеля», он заглушеывает этим все существенные, решающие проблемы философского антагонизма между Марксом-Энгельсом и Лассалям. Лассаль действительно вернулся в философской области к Фихте, как в эстетической он возвращается к Шиллеру, между тем как Маркс и Энгельс видели в Фихте и Шиллере уже преодоленные Гегелем, а после того как диалектика, стоявшая у Гегеля «на голове», была поставлена на ноги — уж окончательно отошедшие в прошлое фигуры. Поэтому совершенно искаженно изображает дело Меринг, объясняя, с одной стороны, «антипатию» Маркса к Шиллеру «обстоятельствами», а с другой — усматривая даже в этом пункте какое-то превосходство Лассаля, поскольку он «различает между Шиллером и его буржуазными толкователями». Нет, Маркс и Энгельс отвергали в лице Шиллера (и в связи с этим в лице Канта) вполне определенную, конкретную ступень в развитии немецкой идеологии. Что это отрицательное отношение имеет и свои эстетические стороны, ясно само собой. Маркс и Энгельс были слишком цельными личностями, чтобы установки их мирозерцания, положительные и отрицательные, могли остаться без влияния и на их чисто субъективные оценки, на их симпатии и антипатии, на их эстетическое одобрение или неодобрение. Такова например суровая критика, которой Маркс подвергает «чрезмерное рефлексирование действующих лиц над самими собой» (что, как правильно подчеркивает Маркс², «проистекает из твоего (т. е. Лассаля) пристрастия к Шиллеру»), особенно в изображении женщин.

Но решающий момент в выдвижении Шекспира против Шиллера заключается для Маркса и Энгельса в том, что требуемое ими от драмы мощное, реалистическое изображение исторических классовых боев, как они действительно происходили, наглядное изображение их действительных движущих сил, действительных объективных конфликтов возможно только с помощью тех поэтических средств, которые Маркс обозначает здесь словом «шекспиризирование». Еще подробнее, чем Маркс, обсуждает этот вопрос в своем письме к Лассалю Энгельс³. Вот что он пишет о характере драмы: «Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает; и с этой стороны идейному

Die Philosophie Heraclitos des Dunklen von Ephesos.

Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten dargestellt

von

Ferdinand Lassalle.

Der Heraclit ist also zuerst die philosophische Idee in ihrer speculativen Form anzuweisen. — Hier folgen nur Bruchstücke, es ist kein Satz des Heraclit, den ich nicht in meine Reizit aufgenommen. Hegel. Nichtsflorierender bediente Heraclitos, wenn, wie den Dichtern, also den Weltweisen einer bestimmt wäre, den Preis des Vorbees. Goethe.

Erster Band.

Berlin.

Verlag von Franz Duncker
(W. Besser's Verlagsbuchhandlung.)

1858.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО
ИЗДАНИЯ ТРАКТАТА ЛАССАЛЯ
«ГЕРАКЛИТ ТЕМНЫЙ»

¹ «Schiller und die grossen Sozialisten» («Neue Zeit», XXIII, Bd. II, S. 154).

² Nachgelassene Briefe etc. Bd. III, S. 175.

³ Там же, стр. 181—182.

содержанию драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика в стиле древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы могли бы без вреда посчитаться немножко больше с значением Шекспира в истории развития драмы». Это место, в связи с советом Маркса побольше «шекспиризировать» и с другим местом из письма Энгельса¹, где вопрос об изображении «тогдашней, столь удивительно пестрой плебейской общественности» увязывается с тем же вопросом о шекспировском стиле, вполне выясняет, как нам кажется, связь этих решительных эстетических возражений Маркса и Энгельса с вышензложенным. А с другой стороны, мы уже выше показали, что возвращение Лассалю к Шиллеру связано со всей его концепцией революции, с самой сутью его мирозерцания.

Правда, это обращение Маркса к Шекспиру имеет двойное значение, которое мы должны здесь вкратце проанализировать, чтобы правильно оценить его позицию против Лассалю. Мы уже указали, говоря о взгляде Гегеля на трагическое, на соответствующий взгляд Маркса и отметили, что Маркс и в этом вопросе поставил диалектику (мистифицированную Гегелем) «на ноги». Путь к этому мог быть только один: общественно-историческая конкретизация проблемы трагического. Правда, и у самого Гегеля трагедия есть общественно-историческое явление, но (несмотря на всю ясность и конкретность в отдельных деталях) она остается облеченной в мистифицированную форму. Относя период трагедии, период «героев», ко времени до возникновения «гражданского общества» и усматривая в явлении трагического диалектическое саморазложение этого периода, его переход в гражданское общество (ср. особенно «Феноменологию духа»), Гегель вполне сознательно локализирует трагедию в рамках развития классической греческой культуры, и ему удается, опираясь на переплетенность греческой трагедии с мифологией, мифологизировать эту связь в историко-философских терминах. (Шекспир является в эстетике Гегеля каким-то удивительным эпилогом, чем-то вроде тех *ricorsi*, о которых говорит Вико.) Маркс ставит для прошлого момент диалектического разложения данного общественного строя в центр теории трагического. Трагическое есть таким образом выражение героической гибели класса. Так Маркс и Энгельс пишут, имея в виду именно Шекспира, хотя и не называя его по имени²: «Если гибель прежних классов, например рыцарства, могла дать материалы для величайших трагических произведений искусства, то мещанство вполне естественно не может пойти дальше бессильных проявлений фанатической злобы или собрания санчо-пансовских сентенций и премудрых наставлений». Еще отчетливее выявляется исторический характер трагического в «Критике гегелевской философии права», где трагическая форма выражения определяется как этап в том же историческом процессе упадка данного класса и определяемого им общественного строя — этап, за которым следуют этапы дальнейшего упадка, когда трагическое разлагается в комическое. Маркс пишет о том, какой интерес представляет борьба в Германии для народов Запада, и говорит: «Для них поучительно видеть, как старый порядок, переживший у них свою трагедию, разыгрывает теперь в Германии комедию, словно выходец с того света. Трагичной была его история, пока он был предсуществующей властью мира, а свобода была личным капризом — словом, пока он сам верил, и должен был верить, в свою правомерность. Пока старый порядок боролся как существующий мировой порядок с еще только возникавшим миром, на его стороне было всемирно-историческое, а не личное заблуждение. Его гибель была поэтому трагична».

Однако наряду с этой формой трагедии Маркс и Энгельс выдвигают в своей полемике с Лассалем второй ее тип. У Гегеля трагический герой был всегда защитником общественного строя, обреченного на гибель историческим развитием. Из вышеприведенного места видно, что по отношению к древнему миру и средним векам Маркс должен был освободить этот взгляд от мифологии и идеалистической мистификации (оценка Гетца фон Берлихингена), конкретно сведя явление к его общественно-историческим причинам, но для нового времени у Гегеля вовсе не было трагедии и не могло ее быть. Ибо осу-

¹ Там же, стр. 183.

² Рецензия на книгу Даумера «Die Religion des neuen Weltalters» в «Обзрении Новой Рейнской газеты».

существование идеи в государстве, возникновение пражданского общества, подчинение отдельного лица разделению труда и т. д. создают такие условия, при которых, с одной стороны, индивид является «не самостоятельным, целостным и в то же время индивидуально живым образом самого общества, но лишь ограниченным членом этого последнего», а с другой — этот общественный строй настолько совпадает с разумом, что принципиальное восстание против него (например, Карл Моор у Шиллера) должно производить «мальчишеское» впечатление¹. Таким образом неприятие современной трагедии вытекает у Гегеля непосредственно из всего его взгляда на новое время, поскольку этот взгляд связывает прозаический, неблагоприятный для поэзии характер современного «мирового состояния» с фактом самодостигания и самопостижения духа и именно поэтому сомневается в возможности «героической гибели» какого-нибудь класса в настоящее время. А трагедия революционера должна была быть для него еще более неприемлемой². Но именно здесь и возникает вопрос для Маркса и Энгельса. После гегелевской литература и эстетика поставили, правда, как мы видели, вопрос о трагедии революции, пытались преодолеть гегелевский «конец истории» и в эстетическом плане. Но в постановке этого вопроса она поднялась в лучшем случае только на гегелевскую ступень, т. е. поставила вопрос в такой форме, которая оставляет неприкосновенным фундамент буржуазного общества (как ступени уже осуществленного разума). Отсюда либеральная двойственность Фишера и консервативная романтика исторической необходимости у Геббеля. Лассаль пытался, как мы знаем, разрешить проблему на основе революционного субъективизма (шиллеровская традиция). Но так как этот субъективизм есть сам лишь выражение непреодоленной гегелевской основы (т. е. неумения подняться над горизонтом буржуазного общества), то и все категории гегелевского решения (примирение и т. д.) эклектически смешиваются у Лассаля с категориями шиллеровско-фихтевского субъективного идеализма (трагическая вина). Лассаль понимает, правда, всю пустоту тех эстетических категорий, с помощью которых его современники думали преодолеть гегелевское положение о «непоэтическом» характере нового времени (умеренный реализм Фишера, «благоговение перед действительностью» современных либеральных писателей и теоретиков искусства, как «примирение» с худшими сторонами капиталистической действительности в Германии), но он может противопоставить им только риторический идеализм и субъективизм шиллеровского пафоса. Он находит таким образом и в эстетической области только эклектическое решение, потому что его основная позиция в вопросах, составляющих реальную основу его художественной установки, тоже проникнута эклектичным идеализмом. Зинкинген должен быть, согласно его замыслу, революционным героем в духе Шиллера, объективно же этот герой гегелевской трагедии — представитель погибающего класса. (Эти противоречия остаются в драме неразрешенными.)

Маркс и Энгельс исходил, как это показано выше, из материалистической переработки гегелевского понимания трагедии. Но не только из этого. У Гегеля была лишь одна форма трагедии. Для Маркса и Энгельса наряду с ней существует еще трагедия преждевременно явившегося революционера, трагедия Мюнцера. Это различие двух типов трагедии и в эстетическом смысле необходимо связано с материалистической переработкой гегелевской теории трагического; трагедия (и комедия) оказывается поэтическим выражением определенных фазисов классовой борьбы — и при том как у нисходящего, так и у революционного класса. Второй тип трагического отменяет вместе с тем

¹ «Aesthetik», Bd. I, S. 265—267.

² Единственное исключение, когда революционер воспринимается Гегелем трагически, составляет судьба Сократа. Но это исключение покоится на основной концепции позднего Гегеля, согласно которой можно сказать, варьируя слова Маркса, что революция существовала, но больше не существует. Сократ оказывается «героем» потому, что он представлял против афинян от имени нового мирового порядка, осуществившегося впоследствии в христианстве, правомерный принцип, который однако афиняне всячески отвергали с таким же правом, так как он разрушил их мировой порядок. «Судьба Сократа таким образом подлинно трагична». Но с осуществлением христианства положение меняется, и Гегель весьма далек от того, чтобы например воспринимать трагически якобинцев («Geschichte der Philosophie», Bd. II, S. 119).

гегелевскую характеристику современности как «непоэтичной», но отменяет ее в духе диалектического материализма. Что «капиталистический способ производства враждебен некоторым отраслям духовного творчества, как например искусству и поэзии»¹, — это Маркс подчеркивал неоднократно. И этого не преодолеешь ни «примирительным» реализмом, ни субъективистическим идеализированием, а исключительно только революционным реализмом, раскрывающим внутренние противоречия капиталистического развития с беспощадной откровенностью, с бесстрашно-«дициной» или революционно-критической правдивостью. Это — поэзия революционного сознания, уяснившего себе основы дальнейшего развития². Трагедия «преждевременного» революционера обнаруживается как раз в своей исторической конкретности, в неразрывной связи со всеми недостатками и ошибками, вытекающими из еще «несозревшей» революционной ситуации. В противовес унылым филистерам, всегда восклицаемым вместе с Плехановым: «не надо было браться за оружие», Маркс одинаково энергично подчеркивает, с одной стороны, неумолимую историческую необходимость, явившуюся причиной гибели, а с другой — необходимость все-таки предпринимать борьбу и положительное прогрессивное значение того факта, что борьба была предпринята, и мужественно предпринята. «Творить мировую историю было бы конечно очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов... Демонстрация рабочего класса в последнем случае (т. е. если бы рабочие не ответили на поставленную буржуазией альтернативу открытой борьбой. — Г. Л.) была бы гораздо меньшим несчастием, чем гибель какого угодно числа «вожаков». Борьба рабочего класса с классом капиталистов «... вступила благодаря Парижской коммуне в новую фазу... Сравните с этими парижанами, готовыми штурмовать небо, тирафов германско-прусской священной империи...»³ Трагедия таких революционеров, как Мюнцер, черпает свой пафос именно из того обстоятельства, что только через крушение героических попыток и через их «беспощадно основательную» самокритику движение может притти к высшим формам борьбы, к достижению победы. «Социальная революция» может поэтому, как пишет Маркс в «18 брюмера», «почерпнуть свою поэзию... только из будущего». Итак, Маркс и Энгельс критикуют Лассалья в двойне: во-первых, они упрекают его за то, что он как запоздалый представитель немецкого классицизма выбрал трагедию первого типа (Мюнцер против Зикингена); а во-вторых, за то, что, раз уже выбрав эту тему, он не сделал из нее всех выводов и не изобразил героя погибающего класса именно как трагического. Шекспир как великий поэт нисходящего средневековья может при этом служить художественным прообразом для обеих возможностей, между тем как шиллеровский стиль может привести лишь к затемнению и искажению тех реальных движущих сил классовой борьбы, материалистический анализ которых один только способен явиться фундаментом для действительно поэтической композиции.

Мы должны были остановиться несколько подробнее на этой позиции Маркса и Энгельса в вопросе о Шекспире, чтобы у читателя не возникло и тени подозрения, будто в своей критике шиллеровской манеры Лассалья они стояли на одном уровне с теми критиками, которые также упрекали Лассалья в «абстрактности», но в своих положительных оценках оставались как раз на точке зрения «дурной индивидуализации», в борьбе с которой Энгельс признал себя солидарным с Лассалем⁴. Возвращение Лассалья к Шиллеру равносильно в «Зикингене» признанию принципов буржуазной революции. Поэтому

¹ «Theorien über den Mehrwert», т. I, стр. 251.

² В нашу задачу не входит анализ эстетических взглядов Маркса и Энгельса в связи со всем их мирозерцанием. Но ясно, что их высокая оценка Дидро, Фильдинга, Бальзака и т. д. происходит из того же источника и дает вместе с тем ключ к их интерпретации Шекспира.

³ Письма к Кугельману от 12/IV и 17/V 1871 г.

⁴ Мы имеем здесь в виду прежде всего Ф. Т. Фишера, выступившего в своем письме к Лассалю о «Зикингене» с подобными упреками (в указ. месте, т. II, стр. 207). Меринг правильно отметил в своих «Эстетических очерках» (Mering, Werke, Bd. II, S. 258—259) источники этого «третьего периода немецкого культа Шекспира», стремление заменить путь «от красоты к свободе» (немецкий классицизм) Шекспиром как «поэтом великих политических действий».

выдвижение Шекспира против Шиллера может происходить как справа, так и слева. Если бы после всего вышесказанного для этого требовалось еще косвенное доказательство, то мы могли бы указать на оценку словесно-метрической формы лассалевской драмы со стороны Маркса-Энгельса и со стороны Фишера-Штрауса. Маркс замечает, правда, что, поскольку Лассаль написал свою драму ямбами, ему следовало бы отделать их несколько более тщательно. «В общем однако,— прибавляет он,— я вижу в этом преимущество, ибо у наших поэтических эпигонов не осталось ничего, кроме гладкой формы». Энгельс касается лишь мимоходом «вольностей» в версификации, «мешающих больше в чтении, чем со сцены». В противоположность этому Фишер и Штраус приходят в величайшее негодование от стихотворной стороны «Зикингена».

III

Возражение Лассалья на критические замечания Маркса и Энгельса, весьма подробное и, по его собственному признанию, «растянутое, лишенное всякого стиля и всякой четкости», пытается отстоять позицию драмы и обеих предисловий к ней. Но Лассаль вынужден в этой самозащите пойти по всем почти существенным пунктам гораздо дальше, чем он шел или хотел идти вначале. Поэтому, с одной стороны, скрытые прежде (но ясно понятые Марксом и Энгельсом) противоречия его позиции обнаруживаются теперь как непреодолимые антиномии, непримиримость которых он сам может скрыть от себя только с помощью софизмов: а, с другой стороны, защита объективно несостоятельной позиции вынуждает его к таким выводам, всю политическую суть которых он тогда еще едва ли сознавал, но значение которых наверное тогда же было понято Марксом и Энгельсом в полной мере. Их резко отрицательное отношение к этому письму, отмеченное нами в начале статьи, их внезапный отказ от дальнейшей дискуссии объясняется, как нам кажется, именно этими моментами.

Начнем с той части спора, которую сам Лассаль рассматривает под конец, хотя он же называет ее «наиболее важной», потому что, как он пишет, «ею затрагивается интерес партии, который я считаю весьма правомерным». Начнем с исторической оценки Зикингена и его позиции в вопросе о крестьянской войне. Как помнит читатель, Маркс и Энгельс исходили из того, что Зикинген был в качестве рыцаря представителем погибающего класса и что поэтому его цели могли быть только реакционными и сам он был революционером «только в воображении». С этим связаны упреки в недостаточном внимании к плебейско-крестьянским элементам и упрек со стороны Маркса в том, что Лассаль в своей драме сам «дипломатизирует», подобно своему герою. И вот Лассаль с негодованием отклоняет от себя упрек в дипломатизировании как «в высшей степени несправедливый». Чтобы опровергнуть относящиеся сюда выражения Маркса и Энгельса, он набрасывает связный очерк своих взглядов на классовый характер дворянского восстания и крестьянской войны. Суть его теории заключается в том, что обе стороны — как исторический Зикинген и рыцари, так и крестьяне — были реакционны. Крестьяне «в высшей степени реакционны, реакционны ничуть не меньше, чем исторический Зикинген (не мой) и сама историческая дворянская партия», пишет Лассаль.

Здесь разумеется не место для подробного анализа и сравнения, с точки зрения их исторической правильности, взглядов Маркса-Энгельса и Лассалья на тенденции экономического развития и классовые отношения в Германии около 1522—1525 гг. (тем более, что правота Маркса и Энгельса тут совершенно очевидна). Мы займемся здесь только выяснением некоторых важных методологических сторон лассалевской полемики, освещением их связи с интересующим нас комплексом проблем и их сопоставлением с соответствующими взглядами Маркса-Энгельса. Итак, почему крестьянское движение является, по мнению Лассалья, реакционным? Лассаль приводит два соображения. Оно, во-первых, не революционно потому, что крестьяне требовали только «уничтожения злоупотреблений», а не радикального переворота; «идея прав субъекта, как такового, выходит за пределы всей той эпохи». А во-вторых, оно «реакционно в такой же мере, как и историческая дворянская партия», и именно потому, что «определяющим

политическим моментом является для них еще не субъект... а частное землевладение... На основе свободного личного землевладения предполагалось создать государство землевладельцев с императором во главе. Это была стала быть все та же старая, отжившая идея германской империи, которая и потерпела крушение. Именно благодаря этой архиреакционной идее крестьян их союз с дворянством был бы еще вполне возможен». В противовес этой реакционной идее князья с их властью над землей, не являвшейся их собственностью и не переданной им в ленное владение, представляли собой первый зародыш независимого от частного землевладения «политического, государственного принципа». Этот взгляд, который, как мы знаем, повторяется и в позднейших сочинениях Лассаля¹, характерен в двух отношениях. Во-первых, он насквозь идеалистичен, ибо он совершенно игнорирует основные экономические вопросы (эксплоатацию крестьян дворянством) или во всяком случае трактует их как нечто более или менее второстепенное², решая вопрос о революционном или реакционном характере движения с точки зрения юридического урегулирования вопросов собственности и не ставя вовсе вопроса о формах эксплуатации (или ее уничтожения).

А во-вторых, этот старый гегельянский метод в конце концов не диалектичен. Революционный и реакционный принцип противопоставляются друг другу в механически-застывшем виде. Живое взаимодействие классов совершенно игнорируется, несмотря на его огромное значение именно в данном случае, когда основные классы буржуазного общества — буржуазия и пролетариат — еще не успели образоваться, когда таким социальным слоям, как «плебейм», крестьянам, принадлежит решающая роль, и поэтому прогрессивные, реакционные и утопические тенденции все время перекрещиваются, так что часто бывает трудно конкретно установить преобладающий момент. Так Лассаль проходит, с одной стороны, мимо всех социалистических элементов плебейского движения (ср. приведенную выше цитату из Энгельса о Мюнцере с идеологическим представлением Лассаля о религиозном фантазерстве Мюнцера), а с другой — он не замечает и того, что объединение «прогрессивных элементов нации», как оно выразилось в имперской конституции Венделя-Гипплера, «является предчувствием нового буржуазного общества». Эти «принципы... не были, правда, непосредственно осуществимы, но они были несколько идеализованным, необходимым результатом фактического разложения феодального строя, и крестьяне, как только приступили к выработке законопроекта для всей империи, были вынуждены считаться с ними». В своем дальнейшем анализе проекта Гипплера Энгельс отмечает, что «дворянству делаются уступки», «весьма напоминающие выкупы нового времени». Но если по этой линии, по линии подчинения «подлинным интересам граждан», движение могло ставить себе буржуазно-революционные цели, а под мюнцеровски-плебейским руководством даже цели, идущие далее буржуазного строя, то как раз необходимая цель Гуттенов и Зиккингенов — дворянская демократия — была определенно реакционной. Это, — говорит Энгельс³, — «одна из наиболее грубых общественных форм, которая вполне нормально развивается в разработанную феодальную иерархию, представляющую собой уже значительно более высокую ступень». Poleмика Лассаля ясно показывает, что этой конкретной исторической диалектики классового развития, а следовательно и действительной диалектики революции он не понимает, понять ее не хочет и не может.

¹ Ср. например «Наука и рабочие», 1863 г.

² Ср. то место в самой драме, где Зиккинген Лассаля (т. е. не исторический, а революционно-стилизованый Зиккинген) заявляет на собрании дворян в Ландау: «Идите крестьянина! Он готов сбросить с себя поповское иго, которое давит его самого еще тяжелей, чем нас. Не нас, а князей ненавидит он; с нами же, если мы будем действовать справедливо, он помирится легко» (Werke, Bd. I, S. 281). Это приблизительно соответствует взглядам исторического Гуттена или Зиккингена, их неспособности «обещать бюргерам или крестьянам что-нибудь положительное», их вынужденности «мало говорить или ничего не сказать о будущих взаимных отношениях дворянства, городов и крестьян, свалив все это на князей и на зависимость от Рима» («Bauernkrieg», S. 81). Но в устах лассалевского героя приведенные слова очень ярко освещают сказанное нами выше.

³ «Bauernkrieg», S. 105—106.



ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ

С фотографии (конца 50-х гг.), хранящейся в Музее Маркса и Энгельса

Дело несколько не меняется от того, встречаются ли у Лассалья в его драме и в письмах отдельные правильные формулировки или нет, дает ли он правильное изображение отдельных классовых ситуаций. Важен недиалектический характер его основной точки зрения, не только мешающий ему правильно понять современность и историю, равно как и их правильное истолкование Марксом и Энгельсом, но даже заставляющий его изменить своей собственной философской основе, идеалистической диалектике Гегеля, и приблизиться к догегелевским воззрениям. Мы уже коснулись этого вопроса выше, в связи с лассалевским пониманием «трагической вины» и с его приближением к Шиллеру. Маркс и Энгельс не подошли, правда, в своей критике непосредственно к этому вопросу (выдвижение Шекспира против Шиллера с ним очень тесно связано), но их критика настолько распатала позицию Лассалья, что последний оказался вынужден показать свое философское лицо. Он пытается конечно опровергнуть аргументы Маркса-Энгельса по отношению к историческому Зикингену и таким образом лишить почвы всю их критику в целом. Но словно чувствуя, что в этой области его аргументы недостаточны, он старается отстоять решающий для него пункт, т. е. характер и судьбу своего (а не исторического) Зикингена, и с философской стороны. Речь идет понятию опять-таки о союзе Зикингена с крестьянством, о том, насколько этот союз был бы возможен и к чему бы он привел. И вот здесь Лассаль оказывается вынужденным подробно изложить свой общий взгляд на историческую необходимость и ее отношение к человеческой активности. В виду важности вопроса мы должны привести это место целиком. «Что получилось бы? Если исходить из конструктивной философии истории Гегеля, усердным приверженцем которой являюсь я сам, то придется конечно ответить вместе с вами, что в конечном счете все же неизбежно наступила бы и должна была наступить гибель, потому что Зикинген, как вы говорите, представлял реакционный *au fond* интерес и необходимо должен был представлять его, ибо дух времени и классовая принадлежность не давали ему возможности твердо стать на другую позицию.

Но это критико-философское понимание истории, в котором одна железная необходимость цепляется за другую и которое именно поэтому угадает действительность индивидуальных решений и поступков, как раз потому и не может явиться почвой ни для практически революционного действия, ни для драматического представления.

Для обоих этих элементов предпосылка преобразующей и решающей действительности индивидуальных решений и поступков является, наоборот, той необходимой почвой, вне которой драматически зажигательный интерес так же невозможен, как и смелый подвиг».

Здесь принципиально важно то обстоятельство, что в вопросе об исторической необходимости и практике Лассаль имеет в виду практику не классов, а индивидов и поэтому поневоле дуалистически разрывает необходимость и «свободу» (практику). Это приводит его к дуализму, который не только весьма далек от диалектического понимания этой проблемы у Маркса и Энгельса, но даже остается далеко позади Гегеля, приближаясь к Фихте, Шиллеру, Канту. Ибо хотя гегелевская философия истории и оперирует с индивидом, с его «страстью», соединяя его посредством «лукавства разума» с необходимостью исторического процесса, однако у Гегеля индивид есть все-таки представитель определенного исторического коллектива (нации и т. д.) и его «страсть» теснейшим образом связана с «интересами». «Это частное содержание, — говорит Гегель¹ (сказав сначала о «частных интересах», «специальных целях», «свокорыстных намерениях» и т. д.), — настолько едино с волей человека, что оно составляет всю определенность последнего и неотделимо от него: благодаря этому содержанию человек есть то, что он есть». Но именно эта переплетенность «идеи» и «страсти» и создает у Гегеля тесную историческую связь (вопреки его собственной идеалистической метафизике). «Таким образом великие исторические личности, — продолжает он, — могут быть поняты только на своем месте» (разрядка наша. — Г. Л.). Связь между

¹ «Die Vernunft in der Geschichte», «Phil. Bibl.», S. 63 и. 76—77.

«вождем», «всемирно-исторической личностью» и ведомой массой основана у Гегеля на том, что вождь высказывает и делает то, к чему масса стремится, сама того не зная. «Всемирно-исторические личности впервые разъяснили людям, чего они хотят. Знать, чего ты хочешь, нелегко; можно в самом деле хотеть чего-нибудь и все-таки стоять на отрицательной точке зрения, испытывать только недовольство; сознание положительной цели вполне может при этом отсутствовать». Итак, по Гегелю, «вождь» является таковым потому, и только потому, что он «есть выражение некоторой объективно-исторической коллективной необходимости (нации, класса); он может им быть лишь постольку, поскольку он выражает собою тенденцию общественного развития, поскольку он формулирует в виде программы то, к чему остальные, согласно своим интересам, необходимо стремятся, хотя это стремление и остается смутным, бессознательным и т. д. Ясное дело, что Лассаль, расходясь в этом пункте не только с Марксом-Энгельсом, но даже с Гегелем, отрывает «индивидуальные решения и поступки» от их реальной почвы, противопоставляет их необходимости, — словом, этицизирует их в духе Канта и Фихте¹.

Тем самым Лассаль создает философскую почву, на которой он надеется одержать победу в споре с Марксом и Энгельсом о преимуществах темы «Мюнцер» или темы «Зикинген». Он формулирует этот вопрос как противоположность «слишком далеких» и «недостаточно далеких» шагов на революционном пути и настаивает на том, что его решение «гораздо глубже, трагичнее и революционнее», чем решение, предлагаемое Марксом и Энгельсом. Оно трагичнее, ибо только при нем возможно появление знаменитой «трагической вины». Как читатель помнит, Энгельс заметил, что хотя отдельные лица, и в том числе лассалевский Зикинген, могут действительно стремиться к союзу с крестьянами, но это тотчас же привело бы их к столкновению с дворянством, в чем, по Энгельсу, может заключаться источник трагической коллизии. Лассаль указывает (и после вышеприведенной цитаты это понятно) на то, что в предполагаемом Энгельсом случае конфликт имел бы место только между Зикингеном и его партией, и «куда девалась бы тогда собственная трагическая вина Зикингена? Он погиб бы, внутренне вполне оправданный и безупречный, исключительно из-за эгоизма дворянского класса — страшное, но в сущности совершенно не-трагическое зрелище». Теперь уже конечно несколько не удивительно, что Лассаль, берущий развитие Зикингена в чисто индивидуальном разрезе, видит в объективно-необходимом классовом конфликте Зикингена с дворянским классом только «эгоизм» этого последнего, что он рассматривает действия обеих сторон, конфликт между ними, но как объективно-исторически необходимую коллизию и ставит с этой точки зрения — теперь уже вполне последовательно — вопрос о «трагической вине». Но ставя этот вопрос, он неизбежно порывает с гегелевской философией истории, неизбежно переходит на точку зрения субъективного идеализма.

Отсюда вполне естественно вытекает, что конфликт представляется Лассалю «более трагическим», когда он «имманентен самому Зикингену», т. е. когда он является этическим конфликтом. Как мы уже видели и как это теперь еще яснее показывает Лассаль, этот этический конфликт есть конфликт индивида с его собственным классом или, еще точнее, с пережитками старой классовой идеологии внутри самого человека, готового перейти к другому классу. Итак, согласно вышеприведенной ясной формулировке Лассалья, этический, «внутренний» конфликт трагичен, а объективно-историческое столкновение — не-трагично. Любопытно, как определяет Лассаль трагический конфликт. Понятно само собой, что в качестве «почти в каждой революции повторяющегося, вечного» конфликта он ставит его выше, чем исторически-определенный конфликт Мюнцера. Он видит в Зикингене индивида (вроде Сен-Жюста, Сен-Симона, Жишки), который хочет или может «целиком подняться над своим классом»². Но чтобы получить конфликт и трагедию, чтобы иметь материал для изображения «вины» и

¹ Понятно, что например буржуазный биограф Лассалья Г. Онкен усматривает в этом пункте опровержение исторического материализма («Lassalle», 4-e Ausgabe, S. 149—150).

² Меринг правильно указывает в своем комментарии («Nachlass-Ausgabe», Bd. IV, S. 202), что таково было положение Флориана Гейера, а не Зикингена.

«искупления», Лассаль вынужден конкретизировать общую формулу в двух важных отношениях. С одной стороны, он весьма энергично подчеркивает, что вначале Зикинген «еще не может до конца порвать со старым... ведь отсюда и происходит в конечном счете дипломатическое искажение его восстания, его не-революционное выступление и провал последнего! Этот момент составляет даже всю ось письма»...¹ Стало быть трагичность, якобы более «глубокая», чем та, о которой говорит Энгельс, заключается главным образом в том, что отрыв Зикингена от своего класса происходит медленно и мучительно, что его решительный разрыв с ним наступает слишком поздно. Трагичность в том, что в Зикингене сконцентрированы все революционные возможности, и он все-таки гибнет, потому что он «не вытравил из своей природы одну последнюю преграду, непроизвольный продукт его классового положения, еще отделяющую его от законченного революционера». Картина становится еще яснее благодаря тому, что Лассаль вынужден под давлением аргументов Маркса и Энгельса оставить перспективу дальнейшего революционного развития Зикингена в субъективистском этико-эстетическом полумраке. Лассаль разъясняет² положение Зикингена так: Зикинген «стоит в начале революции, он занимает хотя бы в одном направлении революционную позицию. Последняя является таким образом неким весьма двусмысленным «в себе», которое, если движение продолжится и толкнет его к дальнейшим выводам, может развиваться как в том смысле, что он сделает эти выводы, так и в том, что он выступит против них с реакционной враждебностью». Здесь мы имеем весьма интересное высказывание Лассалья о том, как мыслится им судьба, якобы составляющая трагедию всякой революции. В этой связи становится совершенно понятно, почему Лассаль считал не только «более глубокой и трагичной», но и «более революционной» такую ситуацию, когда в основе конфликта лежат недостаточно далекие шаги, чем такую, когда он вызывается, как в схеме Маркса и Энгельса, слишком далекими шагами. Но ясно вместе с тем, что как лежащие в основе обеих установок мировоззрения (субъективный идеализм и материалистическая диалектика), так и обе концепции революции не имеют ничего общего друг с другом.

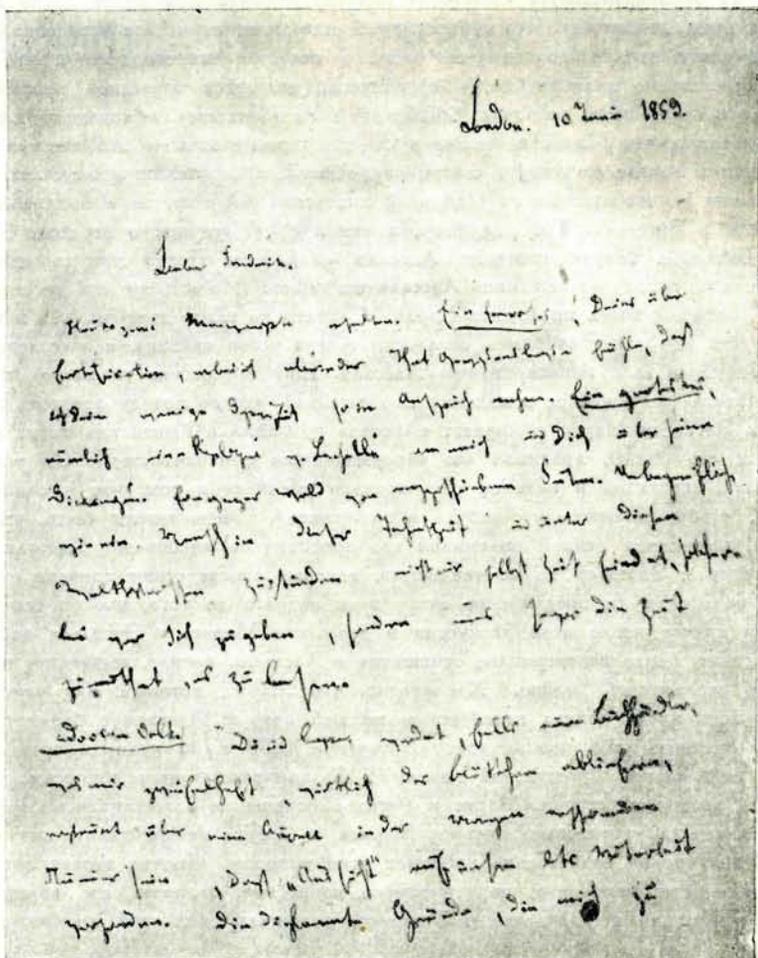
Этим однако «исповедь» Лассалья еще далеко не исчерпана. Чтобы как можно успешнее отстоять свою точку зрения против Маркса и Энгельса, он все время пытается показать, что Зикинген все-таки мог бы удержать вместе различные, устремленные в противоположные стороны классы — дворян и крестьян — и в этом сотрудничестве классов не дать ни на одну минуту решающего перевеса дворянству. Приведем некоторые характерные места. Мнение Энгельса о том, что попытка Зикингена освободить крестьян привела бы его к столкновению с дворянством, Лассаль считает несостоятельным: он находит «даже невероятным... чтобы Зикинген, если бы только он решился апеллировать к крестьянству, пал жертвой этого своего выступления. Если бы он только подчинил себе дворянство и крестьян, то с помощью последних он уже совладал бы и с первыми...» И Лассаль пишет о дворянстве, что он хотел «изобразить его в виде партии, которую лишь Франц привел в движение, которой он механически управлял, дергая ее, как марионетку, взад и вперед, которая была им использована, ничего не зная о его тайных целях». Такому пониманию «вождя» соответствует аналогичное понимание «массы». Дворянство отступило от Зикингена «не вследствие сознания различия их внутренних целей, а из простой апатии, трусости, нерешительности». Коротко говоря, мы имеем здесь хоть и проникнутую пафосом буржуазной революции, хоть и стоящую на духовной почве немецкого классицизма, но по существу бонапартистскую историческую концепцию «героя», «творящего» историю³. Буржуазно-революционные и поэтико-философские классические традиции, правда, несколько изменяют внешнюю форму этой концепции.

¹ Последняя фраза подчеркнута нами; у самого Лассалья подчеркнута только слово «всю».

² Ср. очень интересное место о возможной революционной стилизации Лютера.

³ Почти все, писавшие об этом письме, расслышали эту бисмарксиански-бонапартистскую нотку. Ср. Меринг, в указ. ст., стр. 905; Онкен, в указ. месте, стр. 153.

приближают ее в литературном отношении к этапу маркиза Позы в развитии немецкой идеологии¹, но решающим остается все-таки то обстоятельство, что, согласно Лассалю, «герой» может по произволу двигать классы назад и вперед, исторически осуществляя повеление «идеи»². Зикинген терпит крушение только потому, что в нем, как мы видели, оставалось еще чересчур много «человеческой, слишком человеческой» связанности со своим старым классом. Таким образом попытка Зикингена провозгласить себя им-



НАЧАЛО ПИСЬМА МАРКСА К ЭНГЕЛЬСУ ОТ 10 ИЮНЯ 1859 г. С ОТЗЫВОМ О «ЗИКИНГЕНЕ»

«Сегодня получил две рукописи. Одну превосходную, это — твою о фортификации, при чем испытал прямо угрызения совести, что так отнимаю твоё и без того скудное время. Другую — смешную, а именно возражение Лассаля мне и тебе по поводу его Зикингена. Целый лес густо исписанных страниц. Непонятно, как в такое время года и при таких мировых событиях человек не только сам находит время писать нечто подобное, но еще думает, что и у нас найдется время прочесть это...»

О фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

ператором является не только элементом исторического предания, но и важной составной частью лассалевской концепции. «Что же касается рыцарской оппозиции, — пишет он против Маркса и Энгельса, — то ведь для Зикингена она вообще не существенная

¹ Напомним впрочем об отмеченной выше связи между концепцией Позы и «революцией сверху».

² Ср. сделанные выше замечания о противоположности Гегеля и Лассаля в вопросе о необходимости и исторической практике.

цель, а (что вы оба проглядели) лишь средство, которое он хочет употребить, лишь движение, которое он хочет использовать для провозглашения себя императором, чтобы затем, выполняя роль, от которой отказывается Карл, преобразовать и осуществить протестантизм как государственную национальную идею». Таким образом Лассаль высказывается здесь решительным образом за чисто буржуазный переворот по содержанию, а в отношении средств — за бонапартистскую «реальную политику» более или менее ловко направляемых «массовых движений». Что субъективный идеализм, этическая установка, является для всего этого вполне подходящей базой в качестве мировоззрения, что на этой почве «недостаточно далекие шаги» органически являются трагедией революции вообще, — это после всего вышеизложенного уже не нуждается в комментариях.

Неудивительно, что Маркс в письме к Энгельсу реагировал на это письмо Лассаля приведенным в начале настоящей статьи раздраженно-презрительным замечанием. Некоторые намеки на впечатление от всей этой дискуссии встречаются в позднейших письмах Маркса и Энгельса. Так например, в связи с сообщением о переходе Бухера на сторону Бисмарка Маркс называет Лассаля «маркизом Позой укермаркского Филиппа II», а по поводу «забвения» Лассаля он пишет: «Не есть ли это его собственный Зиккинген, который хотел принудить Карла V «стать во главе движения?»» и т. д. Характерно, что эти «литературные» отголоски всегда тесно связаны с лассалевским курсом на Бисмарка и с бонапартизмом Лассаля. Еще интереснее то место из одного письма Маркса (выпущенное в издании Бернштейна), где по поводу лондонского визита Лассаля к Энгельсу Маркс сообщает: «Лассаль приходил в бешенство, когда я и жена высмеивали его планы, дразнили его «просвещенным бонапартистом». Он кричал, неистовствовал, вскакивал и наконец окончательно убедился в том, что я слишком «абстрактен», чтобы понимать что-нибудь в политике»¹. Очень может быть, что именно невольная, вызванная резкой полемикой его противников «исповедь» Лассаля открыла глаза Марксу и Энгельсу на те тенденции, которые впоследствии привели его к Бисмарку, и облегчила им предвидение этого пути задолго до того, как он был пройден. Во всяком случае после этой дискуссии в переписке Маркса и Энгельса наблюдается более холодное, более недоверчивое отношение к Лассалю, правда, вызванное и его брошюрой об итальянской войне. Характерно, что Маркс, который, как уже замечено выше, до этих писем считал неизбежным полный разрыв Лассаля с берлинцами, впоследствии оценивал этот период так: «В течение 1859 г. он целиком принадлежал к прусской либеральной буржуазной партии»². К принципиальным вопросам, послужившим темой настоящей статьи, Маркс и Энгельс больше не возвращались. Чрезвычайно содержательные и интересные письма Маркса в ответ на присылку ему «Системы приобретенных прав» сознательно избегают этих вопросов. Именно тесная органическая связь между эстетическими и политическими вопросами, которую мы констатировали как у Лассаля, так и у Маркса и Энгельса, положила всей этой дискуссии внезапный конец.

Георг Лукач

¹ Письма от 10 декабря 1864 г., 25 января 1865 г., 30 июля 1862 г. и т. д. (Собр. соч., XXIII, стр. 225, 230, 87).

² Письмо к Энгельсу от 12 июня 1863 г. (Собр. соч., XXIII, стр. 155).